



Блок
Б Е З Г Л Я Н Ц А

ПРОЕКТ НАВДА ФОКИНА

Павел Евгеньевич Фокин
Блок без глянца
Серия «Без глянца»

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=9527142

Блок без глянца ; [сост. П. Фокина и С. Полякова ; вступ. ст. П. Фокина]: Амфора; Санкт-Петербург; 2008

ISBN 978-5-367-00838-8

Аннотация

Современники поэта поставили Александра Блока на пьедестал и не переставали им восхищаться. И далеко не все рассмотрели в нем «страстно-бесстрастного» героя времени. Те же, кому открылся внутренний мир Блока, сохранили о поэте и его жизни заметки без прикрас, свидетельства без недомолвок.

Содержание

Поэма и Её поэт	5
Личность	10
Облик	10
Характер	14
Склад души	18
Творчество	20
Особенности поведения	23
Молчаливый собеседник	24
Декламатор	26
Увлечения, пристрастия, привычки	29
Жилище	32
Шахматово	37
Сын	41
Муж	43
Алкоголь	45
Женщины	47
Семья	48
Предки	48
Отец Александр Львович Блок	53
Мать Александра Андреевна	58
Конец ознакомительного фрагмента.	62

Блок без глянца

Сост. Павел Фокин

*Защиту интеллектуальной собственности и прав издательской группы «Амфора»
осуществляет юридическая компания «Усков и Партнеры»*

© Фокин П., составление, вступительная статья, 2008

© Поляков С., составление, 2008

© Оформление. 73АО ТИД «Амфора», 2008

* * *

Поэма и Её поэт

*И как не умереть поэту,
Когда поэма удалась!*

М. Цветаева

Спустя девяносто лет что осталось от Русской Революции? Политическая система? Государственный строй? Экономический фундамент? Социальная структура? Идеология? Решение национального вопроса?

В реальности – ничего!

А была ли революция? И, вообще, *что* было? Эти вопросы повисли бы в густой пелене документов и исследований, потонули в немом гвалте свидетельств и сообщений, растворились в безнадежном хаосе оценок и мнений, если бы в январе 1918 года Александр Блок не *записал* Поэму «Двенадцать».

От Русской Революции осталась Поэма Блока, как от Троянской войны осталась Поэма Гомера, от гибели античного мира – «Апокалипсис», от борьбы гвельфов с гибеллинами – «Божественная комедия».

Поэма не есть жанр литературы. Все, что *в литературе* называется «поэмой», – по сути только большое стихотворение с более или менее развитым сюжетом. Истинная поэма, Поэма – это некий первородный смысл, явленный в образе кристальной ясности и ослепительного совершенства. Поэма истинная, а не литературная – это Откровение, явление Бога Человеку. Художник тогда утрачивает свою историческую, социальную, личностную индивидуальность, пол, возраст, национальность, становясь в это время (или, может быть, как раз *выпадая* в этот момент из времени) тем абсолютным Человеком, первочеловеком, который некогда был создан по Образу и Подобию, являет собой Образ и Подобие, и с которым Бог вступает в общение, к которому – обращается, сообщает, предвещает, которого наставляет и – наконец – спасает.

Русская Революция была такой Поэмой. Ей нужен был не гнев народных масс, не слабость царского режима, не упадок экономики и козни внешних врагов. Ей требовался Поэт, ибо Русская Революция была не только социальной революцией и, в первую очередь, не социальной революцией – ее битвы разворачивались в пространстве «миров иных», – по сути своей она была метафизическим рубежом, предсказанным человечеству в Откровении Иоанна Богослова, и только Поэт мог его увидеть и описать – открыть глаза современникам и потомкам.

Первым приближение Поэмы почувствовал Гоголь, обладавший духовным зрением и отвагой пророка. Но Гоголь не рассчитал своих сил, не вынес подвига воплощения Поэмы. Да и не пришли еще сроки. Второй том «Мертвых душ», преображавший мир Руси крошечной в светоносную Русь святую, так и не дался Гоголю, лишь опалил заревом грядущей Истины: его хрупкая, нежная душа надорвалась от непомерности усвоенной им художественной задачи, и он умер, ослепленный ею. Но зов Поэмы был услышан.

Ему внимал прошедший через «большое горнило сомнений», изведавший инобытие «Мертвого дома» Достоевский. В горячечном сне Раскольникова, в озарениях князя Мышкина, в мрачных исповедях и проповедях «бесов» – Ставрогина, Верховенского, Шигалева, в бунте Ивана Карамазова, в его «Великом инквизиторе», наконец, в фантастическом испытании Смешного человека Поэма проступала своими грозными очертаниями, предвещая скорое и полное явление. Но слишком много страсти – *лично* – было в Достоевском, он уже

достаточно многое узнал в жизни, чтобы послушно подчиниться Поэме, принять Ее безоговорочно, без споров и борьбы, покорно и бестрепетно произнести Ее слова.

Идеальным избранником Поэмы Русской Революции стал Блок.

Физическое совершенство и душевная искренность определили его судьбу. Только он, строгий крестonosец русского стиха, мчавший своего коня на встречу с Прекрасной Дамой вечной Романтики, мог отдать себя служению Поэме. Только он мог быть Ей верен до конца: он слышал гулы сдвинувшихся миров отчетливее всех и готов был предать себя их велению. Его почти средневековая рыцарственность, возвышенная и односторонняя, была залогом безупречного свершения Поэмы.

В Блоке сошлись и соединились неустрашимая воля поэта и трепетное безволие человека, холод мастера и пламя пророка, бесстрастное равнодушие наблюдателя и чуткое рыдание очевидца.

О, я хочу безумно жить:
Все сущее – увековечить,
Безличное – вочеловечить,
Несбывшееся – воплотить!

(1907)

Он был естествен и прост в каждом своем движении, в каждом поступке и слове. Благородство, рожденное искренней любовью к миру, было написано на его челе. Детское простодушие и целомудренность лежали в основе его личности и придавали ей целостность и гармонию. Стройность определяла внешний и внутренний облик Блока. Музыка жила в нем, рядом с ним, вокруг него. Блок был *лучшим* поэтом эпохи. Его обожали. Ему поклонялись как божеству. Его стихи учили наизусть. Ими говорили и думали.

Он был *ровня* Поэме. Одной крови: живущий в мире – не из мира сего, из другого времени и пространства, внеисторического, внесоциального; на языке мира говорящий о предвечном – язык мира претворяющий в глагол вещей.

В избранный час Поэма пришла к нему, и он неколебимо сознал: «Сегодня я – гений».

Корней Чуковский, видевший черновик «Двенадцати», говорил, что он написан идеальным, чуть ли не каллиграфическим почерком, на аккуратных листах белоснежной бумаги, с какими-то почти незаметными правками и помарками – точно кто-то продиктовал Блоку текст, а он только его зафиксировал. Так оно и было. Поэма прошла через поэта и встала во весь рост перед ошеломленным человечеством. Ее оглушающее Слово разнеслось по всей России, поразив и озадачив.

...На ногах не стоит человек...

...Злоба, грустная злоба
Кипит в груди...
Черная злоба, святая злоба...

...Свобода, свобода,
Эх, эх, без креста!..

...Мировой пожар в крови –
Господи, благослови!..

...Эх, эх, согреси!

Будет легче для души!..

.....

...Ужь я ножичком
Полосну, полосну!..

...Скучно! ...

...И идут без имени святого
Все двенадцать – вдаль.
Ко всему готовы,
Ничего не жаль...

...Впереди – Иисус Христос...

Мистика судьбы Александра Блока заключена в его избранности быть автором Поэмы. Он это знал еще на заре своей юности, к неведомому обращая стих:

Предчувствую Тебя. Года проходят мимо –
Все в облике одном предчувствую Тебя.
Весь горизонт в огне – и ясен нестерпимо.
И молча жду, – тоскуя и любя.

(1901)

Как смерч, Она настигла поэта, и он, оказавшись в эпицентре, *отразил* ее натиск Словом. Он давно ждал Ее.

И встречаю тебя у порога –
С буйным ветром в змеиных кудрях,
С неразгаданным именем Бога
На холодных и сжатых губах...

Перед этой враждующей встречей
Никогда я не брошу щита...

(1907)

В эпицентр Поэмы Блок попал случайно, то есть по воле судьбы. В первые дни Русской Революции он был далеко от Петрограда – в Порохонске, где служил (шла мировая война) табельщиком инженерно-строительной дружины. Устав от однообразия и скуки прифронтовой жизни, Блок подал заявление на отпуск и получил его в марте 1917 года. В родной город он попал спустя несколько дней после краха самодержавия. «Бродил по улицам, смотрел на единственное в мире и в истории зрелище, на веселых и подобревших людей, кишащих на нечищенных улицах без надзора. Необычайное сознание того, что все можно, грозное, захватывающее дух и страшно веселое. Может случиться очень многое, минута для страны, для государства, для всяких „собственностей“ – опасная, но все побеждается тем сознанием, что произошло чудо и, следовательно, будут еще чудеса. Никогда никто из нас не мог думать, что будет свидетелем таких простых чудес, совершающихся ежедневно».

Чудо не замедлило прийти и в жизнь Блока. Когда он писал эти строки, в его квартире раздался телефонный звонок: «Сейчас мне позвонил Идельсон (сослуживец. – П. Ф.). Оказывается, он через день после меня *совсем* уехал из дружины, получив вызов от Муравьева, и назначен секретарем Верховной следственной комиссии. Будут заседать в Зимнем дворце. Приглашает меня, не хочу ли я быть одним из редакторов (это значит – сидеть в Зимнем дворце и быть в курсе всех дел). Подумаю».

14 апреля 1917 года он записывает:

«Мне надо заниматься *своим делом*, надо быть внутренне свободным, иметь время и средства для того, чтобы быть художником...»

Я не имею ясного взгляда на происходящее, тогда как волею судьбы я поставлен свидетелем великой эпохи. Волею судьбы (не своей *слабой силой*) я художник, т. е. свидетель».

Осознав свою миссию, Блок принимает предложение Идельсона. В Порохонск он уже не вернется, останется в Петрограде и с начала мая в течение нескольких месяцев изо дня в день будет непосредственно участвовать в работе Верховной следственной комиссии: о последних днях старого мира и его гибели он узнает из первых уст, увидит все собственными глазами.

Это будут месяцы колоссального духовного и душевного напряжения.

«Я „сораспинаюсь со всеми“, как кто-то у А. Белого. Действительно, очень, очень тяжело. Вчера царскосельский комендант рассказывал подробно все, что делает сейчас царская семья. И это тяжело. Вообще все правы – и кадеты правы, и Горький с „двумя душами“ прав, и в большевизме есть страшная правда. Ничего впереди не вижу, хотя оптимизм теряю не всегда. Все, все они, „старые“ и „новые“, сидят в нас самих; во мне по крайней мере. Я же – вишу, в воздухе; ни земли сейчас нет, ни неба».

Жизнь будет меняться не по дням, а по часам – в неведомую и непостижимую сторону.

И все ближе будет подступать Поэма. Поэма – свидетельство. Поэма – приговор. Поэма – откровение.

В ней будет много документальной хроники. Стихи – цитаты. Стихи – фотографии.

Будет много публицистики и гражданского пафоса. Стихи – плакаты. Стихи – лозунги.

Много мистики и тайны. Стихи – загадки. Стихи – шифры.

И – голоса, голоса, голоса. Точно верхушки айсбергов, выхваченные из мрака ночи лучом прожектора. Ледяной архипелаг голосов. Кипящее море интонаций.

Невероятное сцепление улицы, газеты и Нострадамуса. Символа и лубка.

Гуляет ветер, порхает снег.
Идут двенадцать человек.

Винтовок черные ремни,
Кругом – огни, огни, огни...

Такой Поэмы Россия еще не знала. Безжалостной, бесстыдной, бескомпромиссной – во всей полноте Истины. Во всей наготе.

Трах-тах-тах! – И только эхо
Откликается в домах...
Только вьюга долгим смехом
Заливается в снегах...

Трах-тах-тах!
Трах-тах-тах...

Покров повседневности расползся на отдельные лоскуты и предъявил неизбежную участь грядущего:

Впереди – Иисус Христос.

«Двенадцать» – Поэма Конца Света, *предвестие* Страшного суда. Блок заглянул Ей в глаза и оцепенел, «у бездны на краю». Не отпрянул, лица не отвернул.

И смотрю, и вражду измеряю,
Ненавидя, кляня и любя:
За мученья, за гибель – я знаю –
Все равно: принимаю тебя!

(1907)

Спустя короткий срок Блок умер в возрасте сорока лет.

Болезнь развилась стремительно, врачи так и не смогли поставить диагноз. «Все предпринимавшиеся меры лечебного характера не достигали цели, в последнее время больной стал отказываться от приема лекарств, терял аппетит, быстро худел, заметно таял и угасал и, при все нарастающих явлениях сердечной слабости, тихо скончался, – писал лечащий врач А. Г. Пекелис спустя несколько дней после смерти Блока и с осторожной проницательностью добавлял: – В заключение невольно напрашивается вопрос: отчего такой роковой ход болезни? Оставляя, по понятным причинам, точный ответ об этиологии данного процесса в стороне, мне кажется, однако, возможным высказать такое предположение. Если всем нам, в частности нашему нервно-психическому аппарату, являются в переживаемое нами время особые повышенные требования, ответчиком за которые служит сердце, то нет ничего удивительного в том, что этот орган должен был стать „местом наименьшего сопротивления“ для такого вдумчивого, проникновенного наблюдателя жизни, глубоко чувствовавшего и переживавшего душой все то, чему его „свидетелем Господь поставил“, каким был покойный А. А. Блок».

* * *

Блок, обладавший великолепной памятью, никогда не читал публично Поэму – просто *не помнил* Ее. Не помнил – и не понимал. Пытался объяснить – и не мог. Он был только свидетель. Избранник Поэмы. Верный Ее рыцарь.

Рыцарь верный... Рыцарь бедный...

Павел Фокин

Личность

Облик

Евгений Павлович Иванов (1879–1942), литератор, друг А. А. Блока:

Красив и высок был Ал. Блок: под студенческим сюртуком точно латы, в лице «строгий крест». Где-то меж глаз, бровей к устам. Над лицом, отрочески безволосым – оклад кудрей пепельных с золотисто-огненным отливом, красиво вьющихся и на шее.

Владимир Пяст (Владимир Алексеевич Пестовский, 1886–1940), поэт и переводчик:

«...» Александр Блок был хорошего среднего роста (не менее 8-ми вершков) и, стоя один в своем красивом с высоким темно-синим воротником сюртуке с очень стройной талией, благодаря прекрасной осанке и, может быть, каким-нибудь еще неуловимым чертам, вроде вьющихся «по-эллинически» волос, «...» производил «...» впечатление «юного бога Аполлона».

Владимир Васильевич Гиппиус (1876–1941), поэт, критик, педагог:

У Блока было лицо рыжевато-розового тона с голубыми водянистыми глазами, прямые крупные черты лица и на не очень подвижных губах мелькала улыбка. Девичья или детская. Девушка в мужском облике – или взрослое дитя.

Иоганнес фон Гюнтер (1886–1973), немецкий поэт, драматург, переводчик, неоднократно встречавшийся со многими русскими поэтами начала XX в.:

На нем широкая черная куртка с узким белым воротником. Он еще молод, ему двадцать шесть лет, но в его облике не осталось уже ничего юношеского. Среднего роста, стройный; правда, в фигуре есть какая-то приземистость, отчего порой он кажется чуть-чуть неловким. Его каштановые волосы слегка курчавятся; безбородое лицо, даже когда он весел, выглядит до странности собранным. Говорит он медленно. Его светлые глаза можно назвать скорее печальными. Губы полные и удивительно красные. Над высоким овальным лбом – нимб своенравия и мечтательности. Движения медленные, иногда почти неуклюжие. «...» Так может выглядеть только поэт.

Алексей Николаевич Толстой (1883–1945), прозаик, драматург, общественный деятель:

Я увидел Блока в первый раз в 1907 году. Он вошел в вестибюль театра Комиссаржевской, минуя очередь, взял в кассе билет и, подбоченясь, взглянул на зароптавшую очередь барышень и студентов. Его узнали. У него были зеленовато-серые, ясные глаза, вьющиеся волосы. Его голова напоминала античное изваяние. Он был очень красив, несколько надменен, холоден. Он носил тогда черный, застегнутый сюртук, черный галстук, черную шляпу. Это было время колдовства и тайны Снежной Маски.

Максимилиан Александрович Волошин (1877–1932), поэт, литературный критик, художник:

«...» Лицо Александра Блока выделяется своим ясным и холодным спокойствием, как мраморная греческая маска. Академически нарисованное, безукоризненное в пропорциях, с тонко очерченным лбом, с безукоризненными дугами бровей, с короткими вьющимися волосами, с влажным изгибом уст, оно напоминает строгую голову Праксителя

Гермеса, в которую вправлены бледные глаза из прозрачного тусклого камня. Мраморным холодом веет от этого лица.

Георгий Петрович Блок (1888–1892), двоюродный брат поэта, писатель, литературовед, переводчик:

При первой встрече с Блоком всех поражала неподвижность его лица. Это отмечено многими мемуаристами. Лицо без мимики. Лицо, предназначенное не для живописи и не для графики, а только для ваяния. «Медальный» профиль Блока.

Он держался всегда очень прямо, никогда не горбился. Добавьте к этому спокойную медлительность движений (он не жестикулировал ни при чтении стихов, ни в разговоре), молчаливость, негромкий, ровный, надтреснутый голос и холодноватый взгляд больших светлых глаз из-под темных, чуть приспущенных век.

Таким он бывал во все времена своей жизни: и в самой первой юности, и в поздней молодости, и незадолго до смерти. Но именно только «бывал»: это была завеса или, точнее, забрало.

Михаил Васильевич Бабенчиков (1891–1957), театровед, искусствовед:

Несмотря на обычную свою неподвижность, лицо Блока обладало способностью резко и легко изменяться. Стоило только Ал. Ал. улыбнуться, как его характерный, точно застывший облик получал новое, крайне живое выражение. Холодная маска сразу исчезала, все мускулы лица приходили в движение, и обычные до того спокойно-невозмутимые черты озарялись внутренним светом.

Мария Андреевна Бекетова (1862–1938), тетка поэта, писательница, переводчица:

Наружностью поэт походил на Блоков. Больше всего на деда Льва Александровича. На отца он был похож только сложением и общим складом лица.

Георгий Иванович Чулков (1879–1939), поэт, драматург, мемуарист:

Блок был красив. Портрет К. А. Сомова – прекрасный сам по себе как умное истолкование важного (я бы сказал «могильного») в Блоке – не передает вовсе иного, существенного – живого ритма его лица. Блок любил сравнивать свои таинственные переживания со звуками скрипок. В Блоке, в его лице, было что-то певучее, гармоническое и стройное. В нем воистину пела какая-то волшебная скрипка. Кажется, у Блока было внешнее сходство с дедом Бекетовым, но немецкое происхождение отца сказалось в чертах поэта. Было что-то германское в его красоте. Его можно было себе представить в обществе Шиллера и Гете или, может быть, Новалиса. Особенно пленительны были жесты Блока, едва заметные, сдержанные, строгие, ритмичные.

Любовь Дмитриевна Блок (урожденная Менделеева, 1881–1939), жена Блока, старшая дочь Д. И. Менделеева от второго брака (с А. И. Поповой):

«Расист» мог бы с удовольствием посмотреть на Блока: он прекрасно воплощал образ светлокудрого, голубоглазого, стройного, героического арийца. Строгость манер, их «военность», прямизна выправки, сдержанная манера одеваться и в то же время большое сознание преимуществ своего облика и какая-то приподнятая манера себя нести, себя показывать – довершали образ «зигфридоподобия».

Анна Андреевна Ахматова (1889–1966), поэт. В записи Л. Я. Гинзбург:

У Блока лицо было темно-красное, как бы обветренное, красивый нос, выцветшие глаза и закинутые назад волосы, гораздо светлее лба.

Вильгельм Александрович Зоргенфрей (1882–1938), друг поэта, поэт и переводчик, по образованию и основной специальности инженер-технолог:

В кругу приятелей-поэтов, в театре, на улице был он одет как все, в пиджачный костюм или в сюртук, и лишь иногда пышный черный бант вместо галстука заявлял о его принадлежности к художественному миру. В дальнейшем перестал он и дома носить черную блузу; потом отрекся, кажется, и от последней эстетической черты и вместо слабо надушенных неведомыми духами папирос стал курить папиросы обыкновенные.

Правда, внешнее изящество – в покрое платья, в подборе мелочей туалета – сохранил он на всю жизнь. Костюмы сидели на нем безукоризненно и шились, по-видимому, первоклассным портным. Перчатки, шляпа «от Вотье». Но, убежден, впечатление изящества усиливалось во много крат неизменной и непостижимой аккуратностью, присущей А. А. Ремесло поэта не наложило на него печати. Никогда – даже в последние трудные годы – ни пылинки на свежесутоженном костюме, ни складки на пальто, вешаемом дома не иначе как на расправку. Ботинки во всякое время начищены; белье безукоризненной чистоты; лицо побрито, и невозможно его представить иным (иным оно предстало после болезни, в гробу).

Николай Корнеевич Чуковский (1904–1965), писатель, мемуарист:

В следующий раз я его увидел году в восемнадцатом и потом неоднократно видел вплоть до двадцать первого года. Это был совершенно новый Блок. Мне казалось, что от того Блока, которого я видел в 1911 году, не осталось ни одной черты – до того он изменился. Он больше нисколько не был похож на сомовский портрет. Он весь обрюзг, лицо его стало желтым, широким, неподвижным. Держался он по-прежнему прямо, но располневшее его тело с трудом умещалось во френче, который он носил в те годы. Впрочем, я видел его и в пиджаке. Теперь он казался мне высоким только когда сидел; когда он вставал, он оказывался человеком чуть выше среднего роста, – у него было длинное туловище и короткие ноги.

Любовь Дмитриевна Блок:

Александр Александрович очень любил и ценил свою наружность, она была далеко не последняя его «радость жизни». Когда за год, приблизительно, до болезни он начал чуть-чуть сдавать, чуть поредели виски, чуть не так прям, и взгляд не так ярок, – он подходил к зеркалу с горечью и негромко, как-то словно не желая звуком утвердить совершившееся, полусуто говорил: «Совсем уж не то, в трамвае на меня больше не смотрят...» И было это очень, очень горько.

Вильгельм Александрович Зоргенфрей:

В последние годы, покорный стилю эпохи и физической необходимости, одевался Блок иначе. Видели его в высоких сапогах, зимою в валенках, в белом свитере. Но и тут выделялся он над толпой подчинившихся обстоятельствам собратий. Обыкновенные сапоги казались на стройных и крепких ногах ботфортами; белая вязаная куртка рождала представление о снегах Скандинавии.

Марина Ивановна Цветаева (1892–1941), поэт. Из записной книжки 1920 г.:

⟨...⟩ Худое желтое деревянное лицо с запавшими щеками (резко обведены скулы), большие ледяные глаза, короткие волосы – некрасивый – (хотела бы видеть улыбку! – До страсти!) ⟨...⟩

Лицо совершенно неподвижное, пасмурное. ⟨...⟩

Одежда сидит мешковато, весь какой-то негнушийся – деревянный! – лучше не скажешь, уходя угрюмо кивает, поворачивается почти спиной, ни тени улыбки! – ни тени радости от приветствий.

ВСЕ – НЕХОТЯ. В народе бы сказали: убитый.

Анна Андреевна Ахматова. В записи Л. Я. Гинзбург:

В последний год жизни Блок очень постарел, но особенным образом: он сохся, как ссыхаются вянущие розы.

Характер

Владимир Пяст:

Один умерший теперь поэт, к которому Блок относился без сочувствия и всегда утверждал, что он, Блок, его не понимает, – этот поэт, несмотря на это, всегда отмечал у Блока, как наиболее характерный его человеческий признак, – благородство; говорил, что Блок – воплощение джентльмена и, может быть, лучший человек на земле.

Мария Андреевна Бекетова:

Сын унаследовал от отца сильный темперамент, глубину чувств, некоторые стороны ума. Но характер его был иного склада: в нем преобладали светлые черты матери и деда Бекетова, совершенно несвойственные отцу: доброта, детская доверчивость, щедрость, невинный юмор.

Михаил Васильевич Бабенчиков:

Творческая смелость уживалась в нем с консерватизмом домашних привязанностей и вкусов; крайняя замкнутость и холодность в обращении – с откровенным и ласковым дружелюбием; бережливость – с расточительностью.

Всеволод Александрович Рождественский (1895–1977), поэт:

Блок жил замкнуто, в тесном окружении близких ему людей, и редко появлялся среди публики. Холодность и корректность в обращении были ему свойственны, как и всегдашняя замкнутость. Он казался суровым и неприступным. Много прошло времени, прежде чем мне было суждено узнать его совсем другим и убедиться в том, что за внешним «угрюмством» в нем действительно скрывались начала «света» и «свободы».

Георгий Петрович Блок:

Теперь мне до очевидности ясно, что он был патологически застенчив. Это была тоже постоянная его черта, не побежденная до смерти и причинявшая ему, вероятно, много огорчений. Но она давала о себе знать только в быту и мгновенно преодолевалась, как только он вступал в исполнение каких-нибудь художественных обязанностей, будь то декламация чужих произведений, игра на сцене или чтение своих стихов. Так было у него и в детстве, когда он нескрываясь боялся людей, когда из-за этого даже хождение в гимназию было для него на первых порах мучительно и когда тем не менее дома, на елке, нарядившись в костюм Пьеро, он без всякого стеснения показывал гостям фокусы и читал французские стихи.

Всеволод Александрович Рождественский:

Блоку вообще было в высшей степени свойственно то, что принято называть деликатностью, воспитанностью. Не помню случая, чтобы он дал понять собеседнику, что в каком-то отношении стоит выше его. И вместе с тем он никогда не поступался ни личным мнением, ни установившимся для него отношением к предмету беседы. Прямота и независимость суждений обнаруживали в нем искренность человека, не желающего ни в чем кривить душой. Он был естественным в каждом своем жесте и не боялся, что его смогут понять ложно или превратно.

Владимир Пяст:

В. А. Зоргенфрей вспоминает о <...> вечере у А. А. Кондратьева. На этом вечере отличался необыкновенной словоохотливостью, с уклоном в сторону «некурящих», некий Б., выпустивший книжку стихов и, кажется, готовившийся стать драматургом. Он быстро канул в Лету. От его развязности и пошлости страшно коробило некоторых из нас. Во время ужина я предложил хозяину сказать спич. Но Б. перебил меня. «Слово принадлежит старшему, чем А. А., поэту, – Пушкину!» – вскричал он и, процитировав:

Поднимем бокалы, содвинем их разом,
Да здравствуют музы, да здравствует разум! –

протянул свой бокал к А. А. Блоку.

Тот немножечко приподнял свою рюмку, чуть наклонил голову, – но чокнуться с г-ном Б. не пожелал. <...>

С таким достоинством выйти из затруднительного положения, так мягко осадить – поперхнувшегося после сего – «шантажиста» мог только он, – мягкий, нежный, но в некоторых отношениях всегда твердый Блок.

Андрей Белый (*Борис Николаевич Бугаев, 1880–1934*), писатель, поэт, виднейший деятель и теоретик русского символизма:

«Амикошонства» А. А. не терпел; своим вежеством он отрезал от себя Репетиловых и Маниловых; им мог казаться почти равнодушным, холодным и замкнутым он.

Михаил Васильевич Бабенчиков:

В каждом деле Ал. Ал. любил завершенность мастерства, тонкость художественной отделки, артистичность исполнения.

Ему претил дилетантизм. Когда Блоку не нравилась чужая работа, он говорил об этом с жестокой откровенностью, резкостью и колкостью. Тон его речи становился при этом убийственно сух.

Но зато, если чья-либо работа нравилась ему, он не скупился на похвалы, искренне радуясь чужому успеху.

Евгения Федоровна Книпович (*1898–1989*), критик, литературовед:

Аккуратный до педантизма, рыцарски вежливый, органически неспособный не выполнить даже самого незначительного обещания, бесконечно внимательный к нуждам близких и очень далеких <...>.

Вильгельм Александрович Зоргенфрей:

Излишне сентиментальным не был Блок в житейских и даже в дружеских отношениях и не на всякую, обращенную к нему, просьбу сочувственно отзывался. Но, приняв в ком-либо участие, был настойчив и энергичен и доброту свою проявлял в формах исключительно благородных. <...>

В начале 1919 года заболел я сыпным тифом и в тифу заканчивал срочную литературную работу. Узнав о болезни, А. А. прислал жене моей трогательное письмо с предложением всяческих услуг; сам в многочисленных инстанциях хлопотал о скорейшей выдаче гонорара; сам подсчитывал в рукописи строки, как сказали мне потом, чтобы не подвергнуть возможности заражения служащих редакции, и сам принес мне деньги на дом – черта самоотверженности в человеке, обычно осторожном и, в отношении болезней, мнительном.

Георгий Владимирович Иванов (1894–1958), поэт, мемуарист, один из учредителей «Цеха поэтов»:

Блок всегда нанимал квартиры высоко, так, чтобы из окон открывался простор. На Офицерской, 57, где он умер, было еще выше, вид на Новую Голландию еще шире и воздушней... Мебель красного дерева – «русский ампир», темный ковер, два больших книжных шкапа по стенам, друг против друга. Один с отдернутыми занавесками – набит книгами. Стекла другого плотно затянуты зеленым шелком. Потом я узнал, что в этом шкапу, вместо книг, стоят бутылки вина – «Нюи» елисеевского розлива № 22. Наверху полные, внизу опорожненные. Тут же пробочник, несколько стаканов и полотенце. Работая, Блок время от времени подходит к этому шкапу, наливает вина, залпом выпивает стакан и опять садится за письменный стол. Через час снова подходит к шкапу. «Без этого» – не может работать.

Каждый раз Блок наливает вино в новый стакан. Сперва тщательно вытирает его полотенцем, потом смотрит на свет – нет ли пылинки. Блок, самый серафический, самый «неземной» из поэтов, – аккуратен и методичен до странности. Например, если Блок заперся в кабинете, все в доме ходят на цыпочках, трубка с телефона (помню до сих пор номер блоковского телефона – 612-00!..) снята – все это совсем не значит, что он пишет стихи или статью.

Вильгельм Александрович Зоргенфрей:

Становится до конца понятною поговорка об аккуратности – вежливости королей, когда думаешь об А. А. Не знаю случая, когда бы обращение к нему, письменное или устное, делового или личного свойства, осталось без ответа, точного и исчерпывающего. «Забывать» он не умел; но, не полагаясь на поразительную свою память, заносил в записную книжку все, что требовало исполнения. В обстановке работы соблюдал порядок совершеннейший. Помню, как удивился я, когда, весной 1921 года, говоря со мною о моих стихах, открыл А. А. ящик шкапа и достал оттуда тщательно перевязанный пакет, помеченный моей фамилией; в пакете оказались, подобранные в хронологическом порядке, все мои письма и стихи, когда-либо посылавшиеся А. А., от начала нашего знакомства. Не без чувства удовлетворения пояснил он, что такого порядка держится в отношении всех своих корреспондентов и что порядок этот бережет много времени и труда. Наблюдал я в А. А. и высшее проявление аккуратности, когда свойство это, теряя свой целевой смысл, становится как бы стихией человеческого духа. В 1921 году, в дни, когда денежные знаки мелкого достоинства обесценились окончательно и в буквальном смысле слова валялись под ногами, вынул он однажды, расплачиваясь, бумажник и, получив пятнадцать руб. сдачи, неторопливо уложил эту бумажку в назначенное ей отделение, рядом с еще более мелкими знаками. Труд, затраченный на эту операцию, во много крат превышал ценность денег; это знал, конечно, А. А., но, верный себе, не расценивал своего труда.

Георгий Владимирович Иванов:

Блок получает множество писем, часто от незнакомых, часто вздорные или сумасшедшие. Все равно – от кого бы ни было письмо – Блок на него непременно ответит. Все письма перенумерованы и ждут своей очереди. Но этого мало. Каждое письмо отмечается Блоком в особой книжечке. Толстая, с золотым обрезом, переплетенная в оливковую кожу, она лежит на видном месте на его аккуратнейшем – ни пылинки – письменном столе. Листы книжки разграфлены: № письма. От кого. Когда получено. Краткое содержание ответа и дата...

Почерк у Блока ровный, красивый, четкий. Пишет он не торопясь, уверенно, твердо. Отличное перо (у Блока все письменные принадлежности отборные) плавно движется по плотной бумаге. В до блеска протертых окнах – широкий вид. В квартире тишина. В шкапу, за зелеными занавесками, ряд бутылок, пробочник, стаканы...

– Откуда в тебе это, Саша? – спросил однажды Чулков, никак не могший привыкнуть к блоковской методичности. – Немецкая кровь, что ли? – И передавал удивительный ответ Блока. – Немецкая кровь? Не думаю. Скорее – самозащита от хаоса.

Склад души

Александр Александрович Блок. *Из статьи «Интеллигенция и революция». 1918 г.:*

Жить стоит только так, чтобы предъявлять безмерные требования к жизни: все или ничего; ждать неожиданного; верить не в «то, чего нет на свете», а в то, что должно быть на свете; пусть сейчас этого нет и долго не будет. Но жизнь отдаст нам это, ибо она – прекрасна.

Георгий Иванович Чулков:

Однажды Блок, беседуя со мной, перелистывал томик Боратынского. И вдруг неожиданно сказал: «Хотите, я отмечу мои любимые стихи Боратынского». И он стал отмечать их бумажными закладками, надписывая на них названия стихов своим прекрасным, точным почерком. Закладки эти почти истлели, и я хочу сохранить этот список любимых Блоком стихов. Вот эти три стихотворения: «Когда взойдет денница золотая...», «В дни безграничных увлечений...», «Наслаждайтесь: все проходит...». Этот выбор чрезвычайно характерен для Блока – смешение живой радости и тоски в первой пьесе, «жар восторгов несогласных», свойственных «превратному гению», и присутствие, однако, в душе поэта «прекрасных соразмерностей» – во второй, и наконец, заключительные стихи последнего стихотворения, где Боратынский утверждает, что «и веселью и печали на изменчивой земле боги праведные дали одинакие криле»: все это воистину «блоковское». <...>

Но Блок никогда не был способен к прочным и твердо очерченным идейным настроениям. «Геометризм», свойственный в значительной мере Вл. Соловьеву, был совершенно чужд Блоку. Поэт любил не самого Соловьева, а миф о нем, а если и любил его самого, то в некоторых его стихах, и даже в его письмах, и даже в его каламбурах и шуточной пьесе «Белая лилия». Едва ли Блок удосужился когда-либо прочесть до конца «Оправдание добра». Блок не хотел и теократии: ему надобен был мятеж. Но чем мятежнее и мучительнее была внутренняя жизнь Блока, тем настойчивее старался он устроить свой дом уютно и благообразно. У Блока было две жизни – бытовая, домашняя, тихая и другая – безбытная, уличная, хмельная. В доме у Блока был порядок, размеренность и внешнее благополучие. Правда, благополучия подлинного и здесь не было, но он дорожил его видимостью. Под маскою корректности и педантизма таился страшный незнакомец – хаос.

Александр Александрович Блок. *Из письма Андрею Белому. Шахматово, 15–17 августа 1907 г.:*

Вы хотели и хотите знать мою моральную, философскую, религиозную физиономию. Я не умею, фактически не могу открыть Вам ее без связи с событиями моей жизни, с моими переживаниями; некоторых из этих событий и переживаний не знает никто на свете, и я не хотел и не хочу сообщать их и Вам. <...> Зовите это «скрытностью», если хотите, но таков я был и есть. Я готов сказать Вам теперь, и письменно и устно, хотя бы так: моральная сторона моей души не принимает уклонов современной эротике, я не хочу душевной атмосферы, которую создает эротика, хочу вольного воздуха и простора; «философского credo» я не имею, ибо не образован философски; в бога я не верю и не смею верить, ибо значит ли верить в бога – иметь о нем томительные, лирические, скудные мысли. Но, уверяю Вас, эти сообщения ничего не прибавят к моей физиономии. Я готов сказать лучше, чтобы Вы узнали меня, что я – очень верю в себя, что ощущаю в себе какую-то здоровую цельность и способность и умение быть человеком – вольным, независимым и честным. Но ведь и это не дает Вам моего облика, и я боюсь, что Вы никогда не узнаете меня. Вы знаете, что, говоря все это, я не хвастаюсь и не унижаюсь, что это не признания, не выкрики, не фразы, не «гам».

Все это я пережил и ношу в себе – свои психологические свойства ношу, как крест, свои стремления к прекрасному, как свою благородную душу.

И вот одно из моих психологических свойств: *я предпочитаю людям идеям*. Может быть, это значит: *я предпочитаю бессознательных людей, но пусть и так*. <...> Из этого предпочтения вытекает моя боязнь «обидеть человека». Да, я согласен с Вами глубоко: каждый порознь – милый, но десять этих милых – *нестерпимая* теплая компания. И я отмахиваюсь от этих десяти, производящих «гам», молчу, *«попускаю»*. <...>

Драма моего мирозерцания (до трагедии я не дорос) состоит в том, что я – *лирик*. Быть лириком – жутко и весело. За жутью и весельем таится бездна, куда можно полететь – и ничего не останется. Веселье и жуть – сонное покрывало. *Если бы я не носил на глазах этого сонного покрывала*, не был руководим Неведомо Страшным, от которого меня бережет *только моя душа*, – я не написал бы ни одного стихотворения из тех, которым Вы придавали значение. <...>

Душа моя – часовой несменяемый, она сторожит свое и не покидает поста. По ночам же – сомнения и страхи находят и на часового.

Зинаида Николаевна Гиппиус (1869–1945), поэт, литературный критик, инициатор общения символистов в доме Мережковских:

Своеобразие Блока мешает определять его обычными словами. Сказать, что он был умен, так же неверно, как вопиюще неверно сказать, что он был глуп. Не эрудит – он любил книгу и был очень серьезно образован. Не метафизик, не философ – он очень любил историю, умел ее изучать, иногда предавался ей со страстью. Но, повторяю, все в нем было своеобразно, угловато, – и неожиданно. Вопросы общественные стояли тогда особенно остро. Был ли он вне их? Конечно, его считали аполитичным и – готовы были все простить ему «за поэзию». Но он, находясь вне многих интеллигентских группировок, имел, однако, свои собственные мнения. Неопределенные в общем, резкие в частности.

Александр Александрович Блок. Из письма Андрею Белому. Петербург, 24 марта 1907 г.:

Издавательство искони чуждо мне, и это я знаю так же твердо, как то, что сознательно иду по своему пути, мне предназначенному, и должен идти по нему неуклонно.

Я убежден, что и у лирика, подверженного случайностям, может и должно быть сознание ответственности и серьезности, – это сознание есть и у меня, наряду с «подделкой под *детское* или просто *идиотское*» – слова, которые я принимаю по отношению к себе целиком.

Творчество

Александр Александрович Блок. *Из «Автобиографии»:*

Серьезное писание началось, когда мне было около 18 лет. Года три-четыре я показывал свои писания только матери и тетке. Все это были – лирические стихи, и ко времени выхода первой моей книги «Стихов о Прекрасной Даме» их накопилось до 800, не считая отроческих. В книгу из них вошло лишь около 100.

Александр Александрович Блок. *Из записной книжки 1906 г.:*

Всякое стихотворение – покрывало, растянутое на остриях нескольких слов. Эти слова светятся, как звезды. Из-за них существует стихотворение. Тем оно темнее, чем отдаленнее эти слова от текста. В самом темном стихотворении не блещут эти отдельные слова, оно питается не ими, а темной музыкой пропитано и пресыщено. Хорошо писать и звездные и беззвездные стихи, где только могут вспыхнуть звезды или можно их самому зажечь.

Михаил Васильевич Бабенчиков:

У него было весьма возвышенное представление о литературном труде, как о высочайшей форме человеческой деятельности.

От писателя он требовал профессионального мастерства, постоянного совершенствования и строгого подчинения законам гармонии и красоты.

Он искал слов, «облеченных в невидимую броню», речи сжатой, почти поговорочной и «внутренне напоенной горячим жаром жизни», такой, чтобы каждая фраза могла быть «брошена в народ».

Ал. Ал. любил основательно вынашивать свои литературные произведения, иногда выдерживая их годами. Сам Блок называл это «задумчивым» письмом. Лично же у меня сложилось впечатление, что творческий процесс протекал у Блока не столько за рабочим столом, сколько в часы отдыха – чтения, бесед, прогулок.

Ал. Ал. придавал большое «производственное» значение чтению и, как это ни странно, снам, содержание которых он часто запоминал и потом рассказывал близким.

У Ал. Ал. сохранялись многочисленные черновики, к которым он время от времени возвращался, но которых никогда не пускал в ход, если не считал их вполне доработанными.

Писал Ал. Ал. стихи чаще всего на небольших, квадратной формы, листах плотной бумаги, оставляя всегда кругом текста широкое поле.

Рукописи Блока, многократно переписанные набело, поражали своей исключительной чистотой и хранились им в образцовом порядке.

Свои ранние произведения Блок подвергал жесточайшей критике и отзывался более или менее снисходительно лишь о том, что вошло в третью книгу его стихов.

Сергей Митрофанович Городецкий (1884–1967), *поэт, беллетрист, переводчик:*

«...» И статьи, и пьесы, и поэма давались Блоку с большим трудом. Работать он умел и любил. Знал высшее счастье свободного и совершенного творчества. «Снежная маска», «Двенадцать» и многие циклы писал он в одну ночь. Но на пьесы и поэму он тратил огромные силы.

Евгения Федоровна Книпович:

Я помню вечер зимой или ранней весной (1919 г. – Сост.). Александр Александрович сидел у стола под лампой. Я – далеко от него, кажется, на диване, с ногами.

Он был очень напряженный и вместе с тем бережный.

Какой-то внешний разговор – о Разумнике, об Есенине, о «Скифах» – как-то не клеился. Александр Александрович рассеянно шутил, я так же рассеянно смеялась.

Он замолчал, потом вдруг заговорил каким-то совсем другим голосом – глубоким и тихим.

– Все мы ищем потерянный золотой меч. И слышим звук рога из тумана... – улыбнулся. – Я вам хочу о себе...

Я ведь только одно написал настоящее. Первый том. Но не весь. Девятьсот первый, девятьсот второй год. Это только и есть настоящее. Никто не поймет. Да я и сам не понимаю. Если понимаешь – это уже искусство. А художник всегда отступник. И потом влюбленность. Я люблю на себя смотреть с исторической точки зрения. Вот я не человек, а эпоха. И влюбленность моя слабее, чем в сороковых годах, сильнее, чем в двадцатых. <...>

Мы заговорили об его цветах.

Зеленый для него не существовал совсем. Желтый он ощущал мучительно, но неглубоко. Желтый цвет для него не играл важной роли в мирах искусства, он был как бы фоном, но *здесь* он проявлялся в периоды обмеления души, «пьянства, бреда и общности» (слова Александра Александровича), клубился желтым туманом, растекался ржавым болотом или в «напряжении бреда» (слова Александра Александровича) горел желтым закатом.

О соотношении заревой ясности, пурпура и сине-лилового сумрака есть в статье о символизме. <...>

В 1911–1912 годах в душе, затопленной мировым сумраком, загорелся новый цвет. По определению Александра Александровича, он непосредственно заменил заревую ясность, так как мировой сумрак был вторжением извне. Этот цвет Александр Александрович звал «пурпурово-серым» и «зимним рассветом» <...>.

Павел Иванович Лебедев-Полянский (1881–1948), критик, литературовед, общественный деятель:

Вопрос, который вызвал длинные рассуждения, был вопрос о новой орфографии. Соответствующий декрет вошел уже в силу, но его не всегда можно было применять особенно при перепечатке поэтических произведений. В отдельных случаях это может разрушить рифму и расстроить музыку стиха.

Большинство присутствовавших (на заседании. – *Сост.*) принципиально признало, что в целях педагогических и других надо перепечатывать классиков по новой орфографии, за исключением отдельных случаев, искажающих текст. Блок занял особую позицию в защиту буквы «h» и даже «ъ».

– Я понимаю и ценю реформу с педагогической стороны, – говорил он. – Но здесь идет вопрос о поэзии. В ней нельзя менять орфографии. Когда поэт пишет, он живет не только музыкой, но и рисунком. Когда я мыслю «лес», соответствующее слово встает пред моим воображением написанным через «h». Я мыслю и чувствую по старой орфографии; возможно, что многие из нас сумеют перестроиться, но мы не должны исказить душу умерших. Пусть будут они неприкосновенны.

Я сидел рядом и задал вопрос:

– Но ведь вы, наверное, пишете без «ъ».

– Пишу без него, но мыслю всегда с ним. А главное, я говорю не о себе, не о нас, живущих, а об умерших, – их души нельзя тревожить!

Так он и остался при своей точке зрения.

Странной и непонятной загадкой казался мне этот взгляд. Ценить реформу и не допускать «лес» печатать у старых классиков через «е». Устремление вперед с «душой революции», и вдруг защита «h» и «ъ».

И говорил он об этом много и страстно. Во время заседания и после него он отыскивал новые аргументы в свою пользу.

Анна Андреевна Ахматова:

В тот единственный раз, когда я была у Блока, я между прочим упомянула ему, что поэт Бенедикт Лифшиц (Лившиц. – Сост.) жалуется на то, что он, Блок, одним своим существованием мешает ему писать стихи. Блок не засмеялся, а ответил вполне серьезно: «Я понимаю это. Мне мешает писать Лев Толстой».

Особенности поведения

Георгий Петрович Блок:

Основная особенность его поведения состояла в том, что он был совершенно одинаково учтив со всеми, не делая скидок и надбавок ни на возраст партнера, ни на умственный его уровень, ни на социальный ранг.

Георгий Иванович Чулков:

Он был вежлив, как рыцарь, и всегда и со всеми ровен. Он всегда оставался самим собою – в светском салоне, в кружке поэтов или где-нибудь в шантане, в обществе эстрадных актрис. Но в глазах Блока, таких светлых и как будто красивых, было что-то неживое <...>. Поэту как будто сопутствовал ангел или демон смерти. В этом демоне, как и в Таинственной Возлюбленной поэта, были

Великий свет и злая тьма...

Вильгельм Александрович Зоргенфрей:

В кругу тех, кого он называл друзьями, был он признан и почтительно вознесен; но ни с кем не переходя на короткую ногу, не впадая в сколько-нибудь фамильярный тон, оставался неизменно скромн и прост и ко всем благожелателен. Деликатный и внимательный, одаренный к тому же поразительной памятью, никогда не забывал он, однажды узнав, имени и отчества даже случайных знакомых, выгодно отличаясь этим от рассеянных маэстро, имя которым легион.

Андрей Белый:

А. А. в разговоре не двигался: он сидел в «сюрутке», облекавшем его очень прямо, почти не касаясь спиной спинки кресла: он мог показаться порой деревянным: одежда на теле его не слагала морщин: сохранял свою статность и выправку: мало он двигал руками: не двигал ногами, лишь изредка наклоняя, или отклоняя кудрявую рыжеватую голову, опираясь локтями на ручки удобного кресла: менял положение ног, положивши одна на другую, качаясь носком: <...> А. А. собирал свои жесты в себе: иногда лишь, взволнованный разговором, вставал он, топтался на месте: и медленными шагами прохаживался по комнате, подходя к собеседнику, чуть не вплотную: открывши глаза на него, голубые свои фонари, начал он делиться признаньем, отщелкивал свой портсигар и без слов предлагал папиросу; все его жесты дрожали врожденной любезностью к собеседнику: если стояли перед ним, а А. А. сидел в кресле, он тотчас вставал и выслушивал все с чуть-чуть наклоненным лицом, улыбаясь в носки: или, когда собеседник садился, садился он тоже.

Владимир Васильевич Гиппиус:

Произношение словно бы женственное, или пришепетывающее, но голос грудной – глубокий, и главное – без излишней аффектации. Да и что значит излишняя – когда – в 21–22 года у человека в голосе нет ни признака аффектации.

Молчаливый собеседник

Александр Александрович Блок. *Из письма Андрею Белому. Петербург, 20 ноября 1903 г.:*

«Ненужные и посторонние слова» собственные так и лезут на меня со всех сторон, когда я пытаюсь говорить с понимающими или не понимающими людьми. Потому, кажется, все меня знающие могут свидетельствовать о моем молчании, похожем на похоронное. Молчу и в тех случаях, когда надо говорить. Чувствую себя виноватым, и все-таки молчу по странному чувству давнишней известности моих возможных слов для тех людей, с которыми в данную минуту нахожусь в общении. И удивительно, что выходит действительно похоронно как будто, – хотя у меня внутри редкая ясность, не всегда бывающая и в одиночестве или в присутствии самых близких. Разговоры самые нужные приходят только тогда, когда я внутренне кричу от восторга или страха. Состояние же молчания стало настолько привычным, что я уже не придаю ему цены.

Зинаида Николаевна Гиппиус:

Никакие мои разговоры с Блоком невозможно передать. Надо знать Блока, чтобы это стало понятно. Он, во-первых, всегда будучи с вами, еще был где-то, – я думаю, что лишь очень невнимательные люди могли этого не замечать. А во-вторых, – каждое из его медленных, скупых слов казалось таким тяжелым, так оно было чем-то перегружено, что слово легкое, или даже много легких слов, не годились в ответ.

Можно было, конечно, говорить «мимо» друг друга, в двух разных линиях. Многие, при мне, так и говорили с Блоком, – даже о «возвышенных» вещах. Но у меня, при самом простом разговоре, невольно являлся особый язык: *между* словами и *около* них лежало гораздо больше, чем в самом слове и его прямом значении. Главное, важное, никогда не говорилось. Считалось, что оно – «несказанно».

Сознаюсь, иногда это «несказанное» (любимое слово Блока) меня раздражало. Являлось почти грубое желание все перевернуть, прорвать туманные покровы, привести к прямым и ясным линиям, впасть чуть не в геометрию. Притянуть «несказанное» за уши и поставить его на землю. В таком восстании была своя правда, но... не для Блока. Не для того раннего Блока, о котором говорю сейчас.

Александр Авельевич Мгебров (1884–1966), драматический артист в театре В. Ф. Комиссаржевской и труппе В. Э. Мейерхольда:

Блок был вообще большим, если можно так выразиться, тугодумом, разумеется, в глубоком значении этого слова; мысль медленно работала в нем оттого, что родилась из самой глубины его существа, и вот отсюда – вся его напряженность и медлительность слов, как будто каждое слово, когда он говорил, тяжелыми каплями падало с его уст.

Георгий Петрович Блок:

Немыслимо передать характер его речи – изысканной, стенографически сжатой, сплошь условной, все время ищущей как будто созвучия с тем, что он называл «единым музыкальным напором» явлений. Мне, знавшему его отца, было ясно, что мучительство, которому подвергал себя тот в своем беспримерном одиночестве, когда, сгорая, душил язык своей диссертации, что это мучительство с ним не умерло. Оно продолжало жечь и сына и обжигало тех, кто хоть ненадолго – как я – к нему прикасался.

Михаил Васильевич Бабенчиков:

Блок говорил обычно короткими, отрывистыми фразами. Он любил «выпытывать» чужие мнения, задавая неожиданные «вопросы-молнии». Создавалось впечатление, будто он что-то усиленно продумывает и, не будучи уверен в своих выводах, хочет выведать мнение собеседника.

Подобные испытующие разговоры с заторможенным ритмом Блок способен был вести часами. Они утомляли, вероятно, и его, что же касается меня, то даже сейчас, спустя много лет, я вспоминаю о них с тяжелым чувством. И тем не менее меня всегда упорно тянуло «перебрасываться думами» с Блоком. Эту каменистую и сухую землю едва брала кирка, но под ее пластами мерцали слитки чистого золота.

Голос Блока был глухой и матовый, речь тягучая, часто с длительными перерывами. Казалось, что он всматривается в каждое слово, прежде чем произнести его, и с усилием подыскивает нужные выражения.

Вильгельм Александрович Зоргенфрей:

Молчаливый в общем, ни на секунду не уходил в обществе в себя и не впадал в задумчивость. Принимая, наряду с другими, участие в беседе, избегал споров; в каждый момент готов был разделить общее веселье. <...>

Остроумие, как таковое, как одно из качеств, украшающих обыденного человека, вовсе не свойственно было А. А. и, проявляемое другими, не располагало его в свою пользу. Есть, очевидно, уровень душевной высоты, начиная от которого обычные человеческие добродетели перестают быть добродетелями. Недаром в демонологии Блока столь устрашающую роль играют «испытанные остряки»: их томительный облик, наряду с другими гнетущими явлениями, предвещает пришествие Незнакомки в стихах и в пьесе того же имени. Представить себе Блока острословящим столь же трудно, как и громко смеющимся. Припоминаю – смеющимся я никогда не видел А. А., как не видел его унылым, душевно опустившимся, рассеянным, напевающим что-либо или насвистывающим. Улыбка заменяла ему смех. В соответствии с душевным состоянием переходила она от блаженно-созерцательной к внимательно-нежной, мягко-участливой; отражая надвигающуюся боль, становилась горестно-строгой, гневной, мученически-гордой. Те же, не поддающиеся внешнему, мимическому и звуковому определению, переходы присущи были и его взору, всегда пристальному и открытому, и голосу, напряженному и страстному.

Георгий Петрович Блок:

Лавры занимательного рассказчика и остроумного собеседника никогда не прельщали Блока. Он был очень далек, принципиально далек от стремления овладеть разговором. Человек, стяжавший положение «души общества», вызывал в Блоке не зависть, а обратное чувство, не лишенное брезгливости. Но в юморе Блок знал толк, и временами, словно против воли, ронял убийственно жестокие эпиграммы. Не могу забыть, как он сказал мне однажды про некоего весьма популярного писателя: «А я все-таки продолжаю любить его, несмотря на то, что давно с ним знаком».

Декламатор

Феликс Адамович Кублицкий-Пиотгух (1884–1970), двоюродный брат А. А. Блока, сын его тетки Софьи Андреевны:

Саша с детских лет увлекался декламацией. Он нисколько не стеснялся посторонних и никогда не заставлял себя упрашивать. С удовольствием декламировал шекспировские монологи Отелло, Гамлета, Юлия Цезаря, читал Апухтина («Сумасшедший»), даже в том случае, если среди присутствовавших некоторые находили это «несколько смешным».

Владимир Пяст:

Мало кто помнит теперь (да и я этого времени сам «не застал»), что известности Блока (в передовых артистических кругах) как поэта предшествовала его известность как декламатора.

Не раз мне рассказывали, и разные люди, что вот в гостиной появляется молодой красивый студент (в сюртуке непременно, «тужурок» он не носил). «Саша Блок» – передавали друг другу имя пришедшего в отдаленных углах. «Он будет говорить стихи».

И если Блока об этом просили, он декламировал с охотой. Коронными его вещами были «Сумасшедший» Апухтина или менее известное одноименное стихотворение Полонского.

Софья Николаевна Тутолмина (урожденная Качалова, 1880–1987), двоюродная сестра А. А. Блока по отцовской линии:

В одну из суббот Саша выступал у нас как декламатор – прочел «Сумасшедшего» Апухтина, и с таким мастерством, что мы все были поражены.

Ножки ее целовал,
Бледные ножки, худые, –

эти слова он произносил почти со слезами: губы у него дрожали при совершенно неподвижном лице. Это выступление сразу подняло его во мнении всего общества: мы увидели в нем художника, который был выше нас всех. <...>

В следующем году (1899 г. – *Сост.*) Саша явился осенью совсем какой-то другой – увлеченный Шекспиром и летними спектаклями на даче у Менделеевых. Он охотно читал нам монологи. Особенно хорошо выходил у него монолог Отелло <...>:

Она меня за муки любила,
А я ее за состраданье к ним...

Эти слова он произносил превосходно: очень тихо, как будто монотонно, но с большим внутренним напряжением.

Вижу его сейчас, как живого, в нашей гостиной, окруженного притихшей толпой влюбленной в него молодежи. Он стоит, взявшись руками за спинку стула. Голова поднята. Ореховые глаза полузакрыты. Красивый рот выговаривает слова как бы с усилием, сквозь зубы, и подбородок выдается при этом немного вперед.

Вильгельм Александрович Зоргенфрей:

Охарактеризовать чтение Блока так же трудно, как описать его наружность. Простота – отличительное свойство этого чтения. Простота – в полном отсутствии каких бы то ни было жестов, игры лица, повышений и понижений тона. И простота – как явственный, звуковой

итог бесконечно сложной, бездонно глубокой жизни, тут же, в процессе чтения стихов, создаваемой и утверждающейся. Ни декламации, ни поэтичности, ни ударного пафоса отдельных слов и движений. Ничего условно-актерского, эстрадного. Каждое слово, каждый звук окрашены только изнутри, из глубины наново переживающей души. В тесном дружеском кругу, в случайном собрании поэтов, с эстрады концертного зала читал Блок одинаково, просто и внятно обращаясь к каждому из слушателей – и всех очаровывая.

Максимилиан Александрович Волошин:

Сам он читает свои стихи неторопливо, размеренно, ясно, своим ровным, матовым голосом. Его декламация разворачивается строгая, спокойная, как ряд гипсовых барельефов. Все оттенено, построено точно, но нет ни одной краски, как и в его мраморном лице. Намеренная тусклость и равнодушие покрывают его чтение, скрывая, быть может, слишком интимный трепет, вложенный в стихи. Эта гипсовая барельефность придает особый вес и скромность его чтению.

Михаил Васильевич Бабенчиков:

Читал Ал. Ал. монотонно, чуть в нос, тем же тягучим, даже несколько унылым голосом, растягивая слова, точно с трудом отрывая один слог от другого:

Гре-шить бес-стыдно, непро-будно,
Счет по-те-рять но-чам и дням...

Но в этой манере чтения было что-то настолько властно впечатляющее, что звуки его голоса живы в моей памяти до сих пор.

Владимир Пяст:

Тембр его голоса вообще был глухой. Но когда у него «кости лязгали о кости», то сколько-нибудь чуткое ухо слышало костяной звук, исходивший из его уст; а когда

Вагоны шли привычной линией,
Подрагивали и скрипели;
Молчали желтые и синие,
В зеленых плакали и пели, –

то слышали мы и металл, и скрип, и гармонику...

Павел Григорьевич Антокольский (1896–1978), поэт, драматург, актер Студии Е. Б. Вахтангова:

Александр Блок вышел незаметно. Момент его появления на эстраде был неуловим. Его встретила овация, первая за весь вечер. Он был затянут в черный сюртук, строен, тверд, спокоен. На овацию он никакого внимания не обратил и начал читать...

С первых же строк стало ясно, что речь идет не о шуточном. Даже ритма он не подчеркивал, скорее наоборот – убивал ритм вялым прозаизмом интонации. Чуть запинаясь, он докладывал слова и фразы в том порядке, в котором они почему-то кем-то напечатаны. Как будто и слова чужие для него, не им сочинены. А между тем аудитория слушала затаив дыхание, настороженная, еще до того, как он начал, прочно с ним связанная, во всяком случае загипнотизированная звуком его негибкого, тусклого, ровного голоса. Так велико было обаяние этого высокого, прямого человека с бледным лицом и шапкой золотых волос. Кажется, он отталкивает от себя собственную силу, считает ее чем-то ненужным, давно пере-

житым и исчерпанным, а она, эта сила, снова и снова дает о себе знать. Он читал многое: и «Перед судом», и «Утреет. С Богом! по домам!», и «Унижение». Из зала кричали: «Незнакомку!»), но она и не вздумала появиться. Кончал он то или другое стихотворение, и аплодисменты выростали плотной стеной, на короткий отрезок времени вырывая слушателей из недоуменного оцепенения.

Марина Ивановна Цветаева. *Из записной книжки 1920 г.:*

Блок: грассирует, неясное ш <...>.

Деревянный, глуховатый голос. Говорит просто – внутренне – немножко отрывисто.

Николай Корнеевич Чуковский:

Помню, как он читал «Что же ты потупилась в смущеньи» в так называемом Доме искусств (Мойка, 59). Было это несколько позже – в двадцатом году или в самом начале двадцать первого. Он стоял на невысокой эстраде, где не было ни стола, ни кафедры, весь открытый публике и, кажется, смущенный этим. Зал был купеческий, пышный, с лепниной на белых стенах, с канделябрами в два человеческих роста, с голыми амурами на плафоне. Блок читал хрипловато, глухим голосом, медленно и затрудненно, переступая с ноги на ногу. Он как будто с трудом находил слова и перебирал ногами, когда нужное слово не попадалось. От этого получалось впечатление, что мучительные эти стихи создавались вот здесь, при всех, на эстраде.

Владимир Пяст:

«Гладкое место» – слышал я такое выражение про блоковскую манеру чтения, представьте себе, от поэта. А вот одна моя знакомая актриса ходила на вечера Блока со специальной целью благоговейно учиться исключительно манере чтения Блока, находя ее не только безупречной, но потрясающей. Другой мой знакомый, актер, выражался иначе: в чтении Блока – изумительное мастерство, но отнюдь не такое, как у артиста, потому что в нем что-то свое, не чувствуется никакой школы... Я на это возразил, что ведь был же «первый портной», у которого учились следующие, а самому ему учиться не у кого было.

Классическая простота и экономия в пользовании голосовыми средствами при произнесении стиха – вот что делало манеру чтения Блока в глазах людей, привыкших к эстетике контрастов, похожею на «гладкое место».

Увлечения, пристрастия, привычки

Михаил Васильевич Бабенчиков:

В ранние годы Ал. Ал. пережил ряд сильных увлечений: сперва театром, затем французской борьбой, авиацией... Порой это захватывало его целиком, и было странно видеть, как этот уравновешенный человек, с такой, казалось бы, «холодной кровью», слушает, забыв все на свете, какого-нибудь куплетиста Савоярова или любителю борцом Ван-Рилем.

Феликс Адамович Кублицкий-Пиоттух:

Страсть к театру проявилась у Блока очень рано и усердно культивировалась его матерью. Бесконечны были разговоры об «Александринке», восторги перед Савиной и Комиссаржевской, резкие порицания других артистов. Суждения высказывались строгие и безапелляционные. Признавалась только русская драма, но посещались и спектакли иностранных гастролеров: Сальвини, Тины ди-Лоренцо и др.; о них бывало много разговоров и толков. <...>

Еще позднее, в Петербурге, пришлось видеть Сашу на сцене какого-то любительского театра, кажется, в Зале Павловой. Роль совершенно ему не подходила. Он изображал молодящегося старичка, и выходило это у него довольно плохо. Да и пьеса была изрядно пошла и скучна.

К драматическому искусству Саша был мало способен, но отличался большой наблюдательностью и умением комически передразнивать разных известных лиц, а также родных и знакомых.

Так, изображал он артистов Аполлонского, Юрьева, Далматова, Бравича, Дальского, поэтов В. Я. Брюсова, З. Н. Гиппиус и др.

Самуил Миронович Алянский (1891–1974), основатель издательств «Алконост», где печатался А. А. Блок:

С юных лет Александр Александрович Блок любил совершать дальние прогулки пешком в одиночестве. Он долгие часы бродил по окрестностям Петербурга – в Шувалове, Озерках и Парголово.

Отправляясь на такую прогулку, Александр Александрович всегда предупреждал об этом мать, чтобы она не беспокоилась, если он задержится. Впрочем, так поступал он всегда, во всех случаях, даже когда уходил на Моховую улицу во «Всемирную литературу», если опасался, что может запоздать.

Такой порядок, как рассказывала мать, установился очень давно, еще с гимназических лет Сашеньки.

Феликс Адамович Кублицкий-Пиоттух:

Саша не любил общих прогулок. Охотно гулял лишь с дедушкой Бекетовым. Это стремление к уединению росло с годами. Позднее он совершал далекие прогулки вдвоем с женой. Собаки всегда его сопровождали.

Вильгельм Александрович Зоргенфрей:

Петроградская сторона была <...> излюбленным местом прогулок Блока. Часто встречал я его в саду Народного дома; на широкой утоптанной площадке, в толпе, видится мне его крупная фигура, с крепкими плечами, с откинутой головой, с рукою, заложенной из-под отстегнутого летнего пальто в карман пиджака. Ясно улыбаясь, смотрит он мне в глаза и передает какое-либо последнее впечатление – что-нибудь из виденного тут же, в саду.

Ходим между «аттракционами»; А. А. прислушивается к разговорам. «А вы можете заговорить на улице, в толпе, с незнакомыми, с соседями по очереди?» – спросил он меня однажды и не без гордости добавил, что ему это в последнее время удается.

Владимир Пяст:

Заведя речь о поездках, припоминаю много разных. Зимнюю этого года в Южки, в тамошний ресторан, – поездку, которая имела для Блока своего рода роковое значение. Дело в том, что там, впервые в жизни, он вкусил сладость замиранья сердца при спуске с гор. В ту зиму там были устроены великолепно расчищенные снеговые скаты через лес прямо на середину озера. Мальчишки с санками вертелись на гребне горы («Русская Швейцария»), предлагая свои услуги. Мы уселись и скатились благополучно раз. Блок захотел сейчас же другой. А потом так пристрастился к этому «сильному ощущению», что с открытием «американских гор» в «Луна-Парке» сделался их постоянным страстным посетителем. Ездил туда и один, и с подружившимся с ним вскоре М. И. Терещенко (издателем «Сирин», а впоследствии министром финансов). В одно лето, за первую половину его, Блок спустился с гор, по собственному подсчету, восемьдесят раз. <...>

Раз летом были мы, вместе с жившим там Евг. П. Ивановым, в Петергофе. Это была специальная прогулка на велосипедах. Мой носил название «Аплодисмент», Блока – назывался просто: «Васька».

Феликс Адамович Кублицкий-Пиотгух:

Саша не чуждался физической работы, а временами даже увлекался ею. Рубил кусты, пилил деревья, расчищая заросли в саду, к ужасу бабушки, не любившей «чрезмерную», по ее мнению, культурность садовой природы и считавшей, что надо оставить все, как было раньше и как само растет. Саша собственноручно с одним из нас свел небольшую, но очень хорошую березовую рощицу под садом. Взрослые приходили в ужас от такого вандализма, но впоследствии сами были очень ему рады, так как благодаря этому открылся далекий и широкий вид с балкона и из дома <...>.

Андрей Белый:

Однажды А. А. меня взял и повел к деревянному домику, где проживал; показал огородик, окопанный четко глубокой канавой; взяв в руки лопату, сказал:

– Знаешь ли, Боря, – я эту канаву копал: тут весною работал... Я каждой весною работаю. Так хорошо...

Евгения Федоровна Книпович:

Он с огромным уважением относился ко всем видам и формам труда. Он говаривал, что «работа везде одна – что печку сложить, что стихи написать». Ладный, высокий, неутомимый ходок, он спокойно и естественно – без интеллигентского кокетства – орудовал молотком и пилой, топором и лопатой. <...> Всякую физическую работу он делал так, как делает ее русский человек – «золотые руки».

Феликс Адамович Кублицкий-Пиотгух:

Саша необычайно хорошо относился к животным. Особенно любил он собак, и они его любили. Ирландский сеттер Марс, погибший от чумы в Шахматове, был одним из его любимцев. Позднее он постоянно возился и гулял с таксой своей матери Крабом.

У дедушки была такса Пик. Умная и веселая собака горячо любила своего хозяина. После смерти дедушки Пик сделался угрюмым. Он привязался к Саше и охотно всегда гулял с ним. Когда Пик издыхал от сердечного припадка, лежа на полу в гостиной, при этом при-

существовали все шахматовские обитатели, в том числе и Саша. Пик взглянул на Сашу, завилял хвостом и опрокинулся на бок.

Жилище

1880–1883. Санкт-Петербург. Университетская набережная, 9. Ректорский флигель Санкт-Петербургского Императорского университета

Мария Андреевна Бекетова:

Осенью мы переселились на новую квартиру на набережной Невы, в ректорский дом, который весь отдавался в распоряжение ректора. В нижнем этаже помещались столовая и комнаты родителей. Тут же в особой комнате жила на покое старая няня. В верхнем этаже – мы, сестры и наша бабушка Александра Николаевна Карелина. Тут же была гостиная и белая зала с большим камином и окнами на Неву; здесь стоял рояль. Обстановка была скромная.

Анна Ивановна Менделеева (Попова, 1860–1942), вторая жена Д. И. Менделеева, теща А. А. Блока:

Огромное здание университета, выходящее узким боком к набережной Невы и длинным фасадом на площадь против Академии наук, вмещало не только аудитории, лаборатории, актовый зал и церковь, но и квартиры профессоров и служащих с их семьями. Во дворе, налево от ворот, дом с квартирой ректора, дальше огромное мрачное здание странной неправильной формы, построенное еще шведами, служившее при Бироне для «Jeux de rommes»¹; дальше сад. Справа длинный, длинный сводчатый коридор главного здания. В будни коридор кипел жизнью. Непрерывно мелькали фигуры студентов, старых и молодых профессоров, деловито-степенных служащих; тут свой мир. В праздник все погружалось в тишину. В церковь посторонние входили с главного подъезда – с площади; со двора – только свои, жившие в университете.

Мария Андреевна Бекетова:

Жил Саша в то время в верхнем этаже ректорского дома. Детская его помещалась в той самой комнате, выходившей окнами на университетский двор (в части дома, более отдаленной от улицы), где он родился². Здесь он спал и кушал, но играл далеко не всегда. Пока няня убирала его комнату, он проводил время то у прабабушки А. Н. Карелиной³, комната которой была за стеной его детской, то у тети Кати, нашей старшей сестры, которая особенно его любила.

1889–1906. Санкт-Петербург. Петербургская набережная, 44. Квартира Ф. Ф. Кублицкого-Пиоттуха в офицерских казармах лейб-гвардии Гренадерского полка

Сергей Митрофанович Городецкий:

¹ Игры в мяч (*фр.*).

² Ректорский дом теперь совершенно перестроен внутри, в нем помещаются аудитории и канцелярии. (*Примеч. М. А. Бекетовой.*)

³ Наша бабушка по матери, которая жила у нас в первые годы Сашиной жизни и присутствовала при его рождении. (*Примеч. М. А. Бекетовой.*)

Он жил тогда в Семеновских казармах на Невке, и весь второй цикл стихов о Прекрасной Даме, где дается антитеза первому облику Девы, тесно связан с этой фабричной окраиной. Огромная казарма на берегу реки со всех сторон окружена фабриками и жилищами рабочих. Деревянный мост – не тот ли самый, на котором стояла Незнакомка, – дает вид в одну сторону на блестящий город, в другую – на фабрики. По казенным лестницам и коридорам я пробегал к высокой казенной двери, за которой открывалась квартира полковника Кублицкого-Пиоттух, мужа Александры Андреевны, матери Блока, и в этой квартире – две незабвенных комнаты, где жил Блок.

Я их помню наизусть.

Первая – длинная, узкая, со старинным диваном, на котором отдыхал когда-то Достоевский, белая, с высоким окном; аккуратный письменный стол, низкая полка с книгами, на ней всегда гиацинт. На стене большая голова Исадоры Дункан, Монна Лиза и Мадонна Нестерова. Ощущение чистоты и молитвенности, как в церкви. Так нигде ни у кого не было, как в этой первой комнате Блока. Вторую я не любил – большая, с мягкой мебелью, обыкновенная.

Мария Андреевна Бекетова:

Комнаты Блока в квартире отчима составляли как бы отдельную квартиру: расположены они были в стороне, и попасть туда можно было только из передней. Большая спальня, окнами на набережную, а прямо из передней – маленький кабинет, выходящий окном в светлый казарменный коридор. Нижние стекла окна заклеили восковой бумагой с изображениями рыцаря и дамы в красках. Получалось впечатление яркой живописи на стекле. Мебель в кабинете старая, вся бекетовская. Письменный стол – бабушкин, служивший поэту и впоследствии, во всю его остальную жизнь. Дедовский диван, мягкие кресла и стулья, книжный шкаф. На полу – восточный ковер.

Сентябрь 1906 – осень 1907. Санкт-Петербург. Лахтинская улица, 3, кв. 44

Мария Андреевна Бекетова:

Квартира – «демократическая» найдена была на Лахтинской улице, в четвертом этаже. В трех небольших комнатах Блоки устроились уютно. Вещей у них было немного, средства были крайне скудные, но вся атмосфера их жилья дышала обычной милой своеобразностью.

Вильгельм Александрович Зоргенфрей:

В том году Блок переехал с квартиры в Гренадерских казармах на другую – кажется, Лахтинская, 3. Там побывал я у него впервые. Помню большую, слабо освещенную настольною электрической лампой комнату. Множество книг на полках и по стенам, и за ширмой невидная кровать. На книжном шкафу, почти во мраке – фантастическая, с длинным клювом птица. Образ Спасителя в углу – тот, что и всегда, до конца дней, был с Блоком. Тишина, какое-то тонкое, неуловимое в простоте источников изящество.

Александр Александрович Блок. *Из письма А. В. Гиппиусу. Петербург, 20 января 1907 г.:*

Жизнью теперь у меня называется что-то очень кошмарное, без отдыха радостное или так же без отдыха тоскливое, – а все остальное я пишу на бумаге, сидя за письменным столом, и в этом воплощаю очень много необходимого мне. Пишу много, даже очень, стихов и прозы, частью для денег, частью для себя, и нигде не служу. Благодаря всему этому

наша новая квартира, на которую мы с Любой осенью переехали <...>, приобрела богемный характер: ветер свищет, много людей ходит, много разговоров и молчаний.

1907–1910. Санкт-Петербург. Галерная улица, 41, кв. 4. Дворовый флигель особняка А. И. Томсен-Боннара

Вильгельм Александрович Зоргенфрей:

С Петербургской стороны переехал он на Галерную улицу и несколько лет жил там, в доме № 41, кв. 4. От ряда посещений – всегда по вечерам – сохранилось у меня общее впечатление тихой и уютной торжественности. Квартира в три-четыре комнаты, обыкновенная средняя петербургская квартира «с окнами во двор». Ничего обстановочного, ничего тяжеловесно-изящного. Кабинет (и в то же время спальня А. А.) лишен обычных аксессуаров обстановки, в которой «живет и работает» видный писатель. Ни массивного письменного стола, ни пышных портьер, ни музейной обстановки. Две-три гравюры по стенам, и в шкапах и на полках книги в совершеннейшем порядке. На рабочем столе ничего лишнего. Столовая небольшая, почти тесная, без буфетных роскошеств. Мебель не поражает стильностью.

Мария Андреевна Бекетова:

Квартира была окнами во двор, с одним ходом, во втором этаже; Ал. Ал. привлекало место и близость к театру Комиссаржевской, с которым были связаны тогда его главные интересы. <...>

Квартира Блоков состояла из кухни и четырех непроходных комнат, вытянутых вдоль коридора. Средства позволили им на этот раз завести кое-что новое по части обстановки. В артистическом мире славилась в то время некая Брайна Мильман, торговка из Александровского рынка. У нее купила Люб(овь) Дм(итриевна) стулья красного дерева и книжный шкаф с бронзовым амуром, который обратил на себя ее внимание именно потому, что

Там к резной старинной дверце
Прицепился голый мальчик
На одном крыле...

(Из «Снежной маски».)

Первые три комнатки были крошечные, четвертая, наиболее отдаленная от входа, просторная, в два окна. Тут поселился Ал. Ал.

1910–1912. Санкт-Петербург. Малая Монетная улица, 9, кв. 27

Мария Андреевна Бекетова:

5-го ноября он пишет уже из Петербурга: «Мы сегодня нашли квартиру – хорошую. Пет(роградская) Ст(орона), Малая Монетная, 9*** (6-й этаж (мансарда), лифт, 4 комн., ванна, комн. для прислуги – 55 р. – со всем, контракт на 10 месяцев. – Примеч. А. А. Блока), кв. 27». Комнаты в этой квартире были маленькие и невысокие, из комнаты Блока – балкон. Светло, а из окон – далекий вид на Каменноостровский проспект, на лицейский сад. Большой особняк князя Горчакова – напротив. При нем сад, где снует симпатичный породистый пес, которого Блок наблюдает с любовью. В столовой водрузили еще одно блоковское наследие – огромный диван с ящиками. Комнаты устроили по обыкновению целесообразно и со вкусом. Блоку очень нравилась эта квартира. Он назвал ее «молодой» в письме к матери. И понятно: помещалась она на вышке, и не было в ней ни следа оседлости или быта.

Грааль-Арельский (*настоящее имя Степан Степанович Петров, 1888 – вероятно, 1938*), поэт, по образованию и профессии астроном:

В 1911 году А. А. жил на Петроградской стороне, на Монетной улице, в шестом этаже. Я никогда не забуду того ноябрьского вечера, когда я пришел к А. А. первый раз. Мы прошли в его кабинет – небольшую комнату с полукруглым окном, у которого стоял письменный стол. Почему-то в моей памяти до сих пор осталась лампа с белым бумажным, гофрированным абажуром, от которого струился мягкий, расплывчатый свет, и бювар (папка. – Сост.) из красной кожи на письменном столе.

Борис Александрович Садовской (1881–1951), поэт, критик:

В домашней обстановке Блока неуловимо ощущается присутствие того, что принято называть «хорошим тоном». На всем отпечаток изящества и тонкого вкуса; только неуклюжая красного дерева конторка Дмитрия Ивановича Менделеева нарушает строгий стиль кабинета.

1912–1920. Санкт-Петербург. Офицерская улица, 57, кв. 21

Мария Андреевна Бекетова:

Еще в июне Ал. Ал. занимался приисканием новой квартиры. Она была найдена очень скоро на Офицерской, 57, на углу набережной Пряжки, в 4-м этаже, – «в доме сером и высоким, у морских ворот Невы» (Анна Ахматова). Здесь Блоки прожили около 9 лет. Оба очень ее любили. В письме к матери А. А. описывает вид из окон (24 июня):

«Вид из окон меня поразил. Хотя фабрики дымят, но довольно далеко, так что не коптят окон. За эллингами Балтийского завода, которые расширяют теперь для постройки новых дредноутов, виднеются леса около Сергиевского монастыря (по Балтийской дороге). Видно несколько церквей (большая на Гутуевском острове) и мачты, хотя море закрыто домами».

Вид, действительно, прекрасный, Блок забыл еще упомянуть о том, какой тут красивый изгиб Пряжки, которая отражает прибрежные дома.

На новую квартиру переехали в конце июля:

«Квартира мне очень нравится. Вчера, по случаю приезда Пуанкаре, были видны где-то в порте французские флаги и проследовали за домами чьи-то высокие мачты» (29 июля).

Михаил Васильевич Бабенчиков:

Блоки жили на Пряжке, на углу улицы Декабристов почти у самих «морских ворот Невы», недалеко от меня, и я в тот же вечер отправился к ним.

Дорога на Пряжку шла по набережной, и я, идя, любовался чудесным великолепием закатного неба, окрашенного кроваво-красным цветом вечерней зари. Мысль о встрече с Блоком волновала меня, и я недоумевал, что заставило его так неожиданно вспомнить обо мне.

Квартира Блоков помещалась в четвертом этаже большого серого дома. Ал. Ал., видимо, ждал меня и сам открыл дверь. Курчавые волосы его заметно поредели, а лицо слегка похудело, но в общем он посвежел, загорел и окреп. Одет Блок был в коричневый френч с узкими погонами и высокие сапоги. В военной форме, которая значительно молодила его, я видел Блока впервые, и он, очевидно заметив мое удивление, смущенно сказал:

– Вот, видите, и я, наконец, оказался годным, хотя и к нестроевой службе... Государство крепко сжало меня своими щупальцами, значит, я ему нужен. Был под Пинском, но теперь, кажется, снова засяду в Петербурге.

Кабинет Блока, куда он провел меня, представлял собой светлую и просторную комнату, поражающую своей праздничной чистотой. В нем все было прибрано, аккуратно расставлено по местам и лежало, не нарушая заведенного порядка.

Возле окна стоял большой письменный стол, а напротив него, в глубине комнаты, – высокие книжные шкафы красного дерева.

Кожаный диван и несколько кресел, простой, но удобной формы, дополняли собой в общем неприхотливую, скромную обстановку.

На светлых стенах висело несколько оригиналов и хороших копий с любимых Блоком вещей, в том числе акварель Рейтерна «Жуковский на берегу Женевского озера», рисунок Н. Рериха к «Итальянским стихам», «Саломея» Квентин Массиса и «Мадонна» Джамбаттисто Сальви (Сассофератто), чем-то напоминавшая Любовь Дмитриевну.

1920–07.08.1921. Петроград. Улица Декабристов, 57, кв. 23

Мария Андреевна Бекетова:

После смерти мужа Ал«ександра» Андр«еевна» заболела сильнейшим бронхитом. Для удобства ухода и сношений сын перевел ее на свою квартиру, где она и перенесла всю болезнь. Чтобы не отвлекать Люб«овь» Дм«итриевну» от ее домашней работы и необходимых походов, взяли сестру милосердия. Ал. Андр. поправилась довольно скоро, а так как опять начались разговоры о возможности вселения в квартиру Ал. Ал., он решил перебраться с женой к Ал. Андр. Оставив часть вещей на своей старой квартире у тех, кто ее нанял, а часть продав, он перенес все остальное вниз вдвоем с наемным помощником. Мать перенес он на руках обратно в ее квартиру и быстро устроился на новом месте. Таким образом вся семья избавилась от опасности вселения и приобрела кое-какие преимущества: во-первых, меньше шло дров, а во-вторых, их легче было носить во второй этаж. Теснота, разумеется, была изрядная, так как, несмотря на продажу всего лишнего из обстановки Ал. Андр., покойного Фр«анца» Фел«иксовича» и Блоков, мебели в квартире оказалось все-таки значительно больше прежнего, а пространство ее было меньше верхней. Между прочим, Ал. Андр. хотела продать письменный стол Ал. Ал. и поставить ему другой, принадлежавший деду Бекетову, который был гораздо больше и лучше, но Ал. Ал. предпочел оставить у себя прежний, сославшись на то, что за этим столом была написана большая часть его стихов. В большой комнате с двумя окнами на Пряжку Ал. Ал. поставил свои шкафы и полки с книгами, письменный стол поместился, как всегда, боком к окну, в той же комнате стояла и кровать, заставленная ширмами, а также обеденный стол, менявший свое место сообразно времени года: летом он стоял у свободного окна, зимой – рядом с печкой. Над постелью своей Ал. Ал. по обыкновению повесил картинку с изображением Непорочной девы (Immacolata), подаренную ему в раннем детстве маленькой итальянкой Софией, на одной из стен висел давнишний подарок матери – вид Бад-Наугейма и фотография Мадонны Сассо Феррато, в которой Ал. Ал. находил большое сходство с женой.

Шахматово

Мария Андреевна Бекетова:

Это небольшое поместье, находящееся в Клинском уезде Московской губернии, отец купил в семидесятых годах прошлого столетия. Местность, где оно расположено, одна из живописнейших в Средней России. Здесь проходит так называемая Алаунская возвышенность. Вся страна холмистая и лесная. С высоких точек открываются бесконечные дали. Шахматово привлекло отца именно красотой дальних видов, прелестью места и окрестностей, а также уютностью вполне приспособленной для житья усадьбы. Старый дом с мезонином был невелик, но крепок, в уютно расположенных комнатах нашлась и старинная мебель и даже кое-какая утварь. Все службы оказались в порядке, в каретном сарае стояла рессорная коляска. Тройка здоровых лошадей буланой масти, коровы, куры, утки – все к услугам будущего владельца. Ближайшая почтовая станция Подсолнечная с большим торговым селом и земской больницей – в восемнадцати верстах от Шахматова. Ехать приходилось проселочной дорогой, частью, ближе к Шахматову, изрытой и колеистой, шедшей по великолепному казенному лесу «Праслово». Лес этот тянулся на многие версты и одной стороной примыкал к нашей земле. Помещичья усадьба, от которой после революции ничего не осталось, стояла на высоком холме. К дому подъезжали широким двором с круглыми куртинами шиповника, упоминаемыми в поэме «Возмездие». Тенистый сад со старыми липами расположен на юго-восток, по другую сторону дома. Открыв стеклянную дверь столовой, выходявшей окнами в сад, и вступив на террасу, всякий поражался широтой и разнообразием вида, который открывался влево. Перед домом – песчаная площадка с цветниками, за площадкой – развесистые вековые липы и две высокие сосны составляли группу. Под этими липами летом ставили длинный стол. В жаркое время здесь происходили все трапезы и варилось бесконечное варенье. Сад небольшой, но расположен с большим вкусом. Столетние ели, березы, липы, серебристые тополя вперемежку с кленами и орешником составляли группы и аллеи. В саду было множество сирени, черемухи, белые и розовые розы, густая грядка белых нарциссов и другая такая же грядка лиловых ирисов. Одна из боковых дорожек, осененная очень старыми березами, вела к калитке, которая выводила в еловую аллею, круто спускающуюся к пруду. Пруд лежал в узкой долине, по которой бежал ручей, осененный огромными елями, березами, молодым ольшаником. <...>

Впервые Блок попал туда шестимесячным ребенком. Здесь прошли лучшие дни его детства и юности. Он любил Шахматово... С ранних лет начались бесконечные прогулки по окрестным лесам и полям. К семи годам мальчик знал уже все окрестности, хорошо изучил места, где водились белые грибы, где было много земляники, где цвели незабудки, ландыши и т. д. Он особенно любил ходить за грибами, тем более что по свойственной ему необыкновенной зоркости находил их там, где никто их не видел. Придя домой, он, захлебываясь от восторга, рассказывал о своих находках всем, кто оставался дома и не участвовал в его торжестве.

Анна Ивановна Менделеева:

Лето Бекетовы проводили в своем маленьком подмосковном имении Шахматове, верстах в семи от Боблова, имения Дмитрия Ивановича, по совету которого они и купили свое. Трудно представить себе более мирный, поэтический и уютный уголок. Старинный дом с балконом, выходящим в сад, совсем как на картинах Борисова-Мусатова, Сомова. Перед окном старая развесистая липа, под которой большой стол с вечным самоваром; тут варилось варенье, собирались поболтать, полакомиться пенками с варенья – словом, это было любимым местом. Вся усадьба стояла на возвышенности, и с балкона открывалась чисто русская даль.

Из парка, через маленькую калитку, шла тропинка под гору к пруду и оврагу, заросшему старыми деревьями, кустарниками и хмелем; а дно оврага и пруд покрывались роскошными незабудками и зеленью; дальше шел большой лес, место постоянных прогулок маленького Саши с дедушкой.

Феликс Адамович Кублицкий-Пиоттух:

На дворе в Шахматове была большая куртина из кустов шиповника, сирени, корнуса и спиреи. В этой куртине мы устроили ряд извилистых ходов, площадок и укрытий «для защиты от разбойников», чем вызвали неудовольствие бабушки. Она говорила, что куртина может служить действительно хорошим укрытием, но только для кур и цыплят от коршунов; мы же распугали всех кур.

Мария Андреевна Бекетова:

В 1904 году Блоки уехали в Шахматово ранней весной. Скоро явилась туда и я и привезла с собой прислугу и старого песика-таксу Пика, принадлежавшего покойному дедушке. Пик не отходил от дедушки во все время его болезни, а после его смерти стал очень мрачен и угрюм. Он почти никого к себе не подпускал, но Блока обожал, как и все собаки.

Блоки поселились в отдельном флигеле, стоявшем во дворе при самом въезде в усадьбу. От двора он отделялся забором, за которым подымались кусты сирени, белых жасминов, шиповника и ярких прованских роз. Этот маленький домик состоял из четырех комнат с центральной печкой, сенями и крытой наружной галереей вроде балкона. Со двора – калитка и короткая прямая дорожка к ступеням крыльца. В сенях – лестница на чердак, где Блок выпилил слуховое окно, из которого открылся новый далекий вид <...>.

Поздней весной, в самый разгар цветенья сирени и яблонь, приехала и мать. Тут Блоки начали устраивать и украшать свое жилье. Мы с сестрой предоставили Люб. Дм. заветный бабушкин сундук, стоявший у нас в передней. Там оказались настоящие сокровища: пестрые бумажные веера, новый верх от лоскутного одеяла, куски пестрого ситца. Все это вынималось с криками радости и немедленно уносилось во флигель. Целый день Блоки бегали из флигеля в дом и обратно, точно птицы, таскающие соломинки для гнезда. За ними по пятам трусили две таксы: мой Пик и сестрин Краб. Погода была ужасная: холод, ветер, а по временам даже снег. Но Блоки этого не замечали.

Когда все было готово, нас позвали смотреть. Убранство оказалось удивительное. У каждого была своя спальня, кроме того – общая комната – крошечная гостиная, куда поставили диванчик, обитый старинным зеленым кретоном с яркими букетами. Перед диваном – большой стол, покрытый вместо скатерти пестрым верхом лоскутного одеяла. Вокруг стола несколько удобных кресел; по стенам полки с книгами. На столе лампа с красным абажуром, букет сирени в вазе, огромный плоский камень в виде подставки. На стенах, обитых вместо обоев деревянной фанерой, без всякой симметрии, в веселом беспорядке развесили они пестрые веера, наклеили каких-то красных бумажных рыбок, какие-то незатейливые картинки. Вышло весело и очень по-детски.

В то же лето занялись они устройством своего сада. Прежде всего соорудили дерновый диван. Его устроили в углу, где сходились две линии забора. Диван сработан был основательно и вышел очень удобный, широкий, с высокой спинкой. Блоки очень его любили и называли «канапэ» в память стихотворения Болотова «К дерновой канапэ». С боков, по сторонам его посадили они два молодых вяза, привезенных из Боблова. Деревья эти разрослись очень пышно; через несколько лет они сошлись ветвями и осенили канапэ. Между крыльцом флигеля и диваном, на небольшой солнечной лужайке, были посажены кусты роз – белых, розовых и красных. Желтые лилии, лиловые ирисы, розовые мальвы, все принялось отлично. В тот же год вдоль забора, со стороны полей и дороги, вырыта была глубокая канава, приго-

товленная для посадки деревьев. И на следующий год вдоль всего забора насадили молодых елок, лип, берез, рябин, дубков. Все принялось как нельзя лучше и через несколько лет густо заслонило сад и жильё.

Все это устроили Ал. Ал. и Л. Дм. вдвоем своими руками, без посторонней помощи. Блок очень любил физический труд. Была у него большая физическая сила, верный и меткий глаз: косил ли он траву, рубил ли деревья или рыл землю – все выходило у него отчетливо, все было сработано на славу. Он говорил даже, что работа везде одна: «что печку сложить, что стихи написать»...

Андрей Белый:

Запомнилось первое впечатление от комнаты, куда мы попали: уютные комнаты, светлые комнаты, скромные, располагающие к покою; блистали особенной чистотой они, сопровождающей Александру Андревну повсюду; не видел я ее «хозяйкой»; вокруг нее делалось все незаметно, уютно, само собой, шутя; но во всем был порядок «хозяйского глаза»; во всем была – форма; и для всего был – свой час; я попал в обстановку, где веял уют той естественно скромной и утонченной культуры, которая не допускала перегрузки тяготящими душу реликвиями стародворянского быта; и – тем не менее обстановка – дворянская; соединение быта с безбытностью; говорили чистейшие деревянные стены (как кажется, без обоев, с орнаментом перепиленных суков); сознавалось: из этих вот стен есть проход в бездорожье; они – «золотая межа» разговоров, ведущих: куда?

Мария Андреевна Бекетова:

Весной этого (1910-го. – Сост.) года Ал. Ал., получивший перед тем наследство от недавно скончавшегося отца, задумал отремонтировать шахматовский дом. Он приехал для этого в Шахматово с женой в апреле и торопился окончить ремонт к возвращению матери из санатории. Он положил на это дело не только большие деньги, но и много труда, изобретательности и энергии. Ремонт был сделан основательно и очень удачно. Старый дом преобразился и похорошел, не утратив своего стиля. Все было обновлено, разукрашено, а кое-что и преобразовано, так как над боковой пристройкой, где поселилась Люб. Дм., был возведен целый этаж, в котором помещалась новая Сашина комната. Все эти новости приятно поражали всякого, кто входил в дом, зная, каким он был до перестройки. Не было человека, который бы не одобрил Сашину работу и новые выдумки. Мать же, для которой он особенно старался, приняла все это болезненно, с тем особым чувством, которое свойственно всем психически больным, когда им приходится менять место и привыкать к новым впечатлениям. Сначала она ничего не воспринимала и только мучительно ежилась, как от струй холодного сквозного ветра. Только значительно позже, когда она привыкла к новой обстановке, она оценила всю прелесть обновленного дома. А тут еще оказались новые люди, новые порядки: целая артель маляров, кончавших наружную окраску дома, новый управляющий с семьей, нанятый Сашей и Любой, новые затеи в сельском хозяйстве, задуманные Любовью Дм., Ал. Андреевна совершенно растерялась. Все это принимала она трагически, с некоторой опаской и недоверием. Люб. Дм., взявшая на себя хозяйство, была совершенно неопытна, Ал. Андр., конечно, могла бы дать ей не один хороший совет, но взгляды их на ведение этого дела были диаметрально противоположны, так что взаимное обсуждение хозяйственных вопросов и мнения, высказываемые Ал. Андреевной, порождали только одни недоразумения и неудовольствия. Все это портило отношения, и лето вышло очень тяжелое.

Мария Андреевна Бекетова:

В свою комнату Ал. Ал. привез старинный блоковский письменный стол еще крепостной работы. Этот стол достался ему от отца. В нем были секретные ящики, где Блок сохранял

письма жены, ее портреты, некоторые рукописи и, между прочим, девичий дневник Любовь Дмитриевны. Все эти неоцененные вещи пропали теперь безвозвратно. В 1917 году соседние крестьяне сломали стол, и от того, что было спрятано внутри, осталось некоторое количество бумаг самого незначительного содержания. Куда пошло остальное – неизвестно.

В эту осень мы с сестрой уехали из Шахматова поздно, в половине октября. Блоки остались вдвоем. Ал. Ал. тотчас же нанял колодезника – рыть новый колодезь. Водяной вопрос всегда был слабым местом в Шахматове. Не раз и отец пробовал рыть колодцы, рыли в разных местах и на большую глубину и, истратив изрядную сумму денег, бросали это дело, потеряв надежду на воду. В Шахматове был колодезь, но ездить с бочкой приходилось под гору, далеко от усадьбы. Блок решил попробовать еще раз. Но и тут повторилась та же история. И в конце концов пришлось упорядочить старый водоем – почистить его и поставить новый сруб для воды.

Владимир Владимирович Маяковский (1883–1930), поэт, художник:

Помню, в первые дни революции проходил я мимо худой, согнутой солдатской фигуры, греющейся у разложенного перед Зимним костра. Меня окликнули. Это был Блок. Мы дошли до Детского подъезда. Спрашиваю: «Нравится?» – «Хорошо», – сказал Блок, а потом прибавил: «У меня в деревне библиотеку сожгли».

СЫН

Софья Николаевна Тутолмина:

Помню, как Саша в ранние годы встречался у нас со своим отцом. Отец любил его, спрашивал об университетских делах, и они подолгу просиживали рядом за столом. Саша прямой, спокойный, высокий, несколько «навытяжку», отвечал немногословно, выговаривал отчетливо все буквы, немного выдвигая нижнюю губу и подбородок. Отец сидел сгорбившись, нервно перебирая часовую цепочку или постукивая по столу длинными желтыми ногтями. Его замечательные черные глаза смотрели из-под густых бровей куда-то в сторону. Иногда он горячился, но голоса никогда не повышал.

Однажды Александр Львович, приехав из Варшавы, сейчас же вызвал сына: «Ты должен выбрать себе какой-нибудь псевдоним, – говорил он Саше, – а не подписывать свои сочинения, как я – „А. Блок“. Неудобно ведь мне, старому профессору, когда мне приписывают стихи о какой-то „Прекрасной даме“. Избавь меня, пожалуйста, от этого». Саша стал подписываться с тех пор иначе.

Александр Александрович Блок. *Из письма В. Я. Брюсову. Петербург, 1 февраля 1903 г.:*

Имею к Вам покорнейшую просьбу поставить в моей подписи мое имя полностью: Александр Блок, потому что мой отец, варшавский профессор, подписывается на диссертациях А. Блок или Ал. Блок, и ему нежелательно, чтобы нас с ним смешивали.

Екатерина Сергеевна Герцог (1884 – после 1955), поэт, переводчик, дочь профессора С. Герцога, сослуживца А. Л. Блока по Варшавскому университету:

На одной из своих книг А. А. сделал надпись отцу: «Моему отцу по духу». Это «по духу» очень возмутило А. Л. и давало темы его многим комментариям. Все-таки, говорил он нам, горько улыбаясь, не только же я по духу ему отец.

Георгий Петрович Блок:

Мне памятливы рассказы моего отца о встречах с Блоком в Варшаве на похоронах Александра Львовича. Мой отец вернулся оттуда очарованный Сашей: много говорил о том, с каким тактом, достоинством и мягкостью вел себя Блок в трудной обстановке погребальных церемоний, в общении со множеством незнакомых и неприятных ему лиц. В жизни Блока эти трагические варшавские дни были одними из самых решающих. Мне передавали, что Блок по дороге на кладбище поглаживал уже запаянный гроб отца. В эти минуты он впервые, должно быть, понял, чем был и чем мог стать для него отец, которого при жизни он проглядел.

Александр Александрович Блок. *Из письма матери. Варшава, 4 декабря 1909 г.:*

«...» Сегодня были похороны, торжественные, как и панихида. Из всего, что я здесь вижу, и через посредство десятков людей, с которыми непрестанно разговариваю, для меня выясняется внутреннее обличье отца – во многом совсем по-новому. Все свидетельствует о благородстве и высоте его духа, о каком-то необыкновенном одиночестве и исключительной крупности натуры. «...» Смерть, как всегда, многое объяснила, многое улучшила и многое лишнее вычеркнула.

Евгения Федоровна Книпович:

Я не помню точно когда, но, очевидно, еще в конце 1918 года, Блок сказал мне: «Я хочу вас познакомить с моей мамой, и потому, что мама – это я, и потому, что она живет в том же доме, и у нее тепло, и там мы можем хорошо встречаться и говорить вдвоем и троим».

Георгий Петрович Блок:

По-видимому, сына и мать связывали тесные узы понимания. Мне стало казаться даже (по тому, как он – ученически – посмотрел на нее), что для сына это, может быть, зависимость.

Валентина Петровна Веригина (1882–1974), драматическая актриса в театре В. Ф. Комиссаржевской:

Вскоре после нашего знакомства Л. Д. Блок пригласила Волохову и меня к себе, и мы сделали частыми гостями на Лахтинской, где тогда жили Блоки. Там иногда мы встречали Анну Ивановну Менделееву, мать Любови Дмитриевны, Марию Андреевну Бекетову, тетку Блока, и Александру Андреевну. Существует мнение, что у большинства выдающихся людей были незаурядные матери, это мнение лишний раз подтверждается примером Блока. Как-то Любовь Дмитриевна говорила мне: «Александра Андреевна и Александр Александрович до такой степени похожи друг на друга». Мне самой всегда казалось, что многое в них было одинаковым: особая манера речи, их суждения об окружающем, отношение к различным явлениям жизни. Многие слишком серьезно, даже болезненно принималось обоими. У сына и у матери все чувства были чрезмерны – чрезмерной была у Александры Андреевны и любовь к сыну, однако это несколько не мешало ей быть справедливым судьей его стихов. Она умела тонко разбираться в творчестве Блока. Свои произведения он читал ей первой и очень считался с ее мнением. В конце сезона Александра Андреевна уезжала из Петербурга, и я лично познакомилась с ней ближе гораздо позднее. В 1915 году у нас произошел разговор, который я привожу теперь для характеристики ее созвучности с сыном. Мы говорили о стихотворении «На поле Куликовом», о его пророческом смысле.

И вечный бой, покой нам только снится
Сквозь кровь и пыль.
Летит, летит степная кобылица
И мнет ковыль...

По поводу этих строк Александра Андреевна мне сказала: «Саша описал мой сон. Я постоянно вижу во сне, что мчусь куда-то и не могу остановиться... Мимо меня все мелькает, ветер дует в лицо, а я лечу с мучительным чувством, знаю, что не будет покоя».

Муж

Анна Ивановна Менделеева:

Помню, раз как-то я вздумала взять с собой мою девятимесячную дочку Любу, по молодости лет воображая, что доставлю ей удовольствие, чем очень рассмешила бабушку Елизавету Григорьевну, которая даже пожурела меня за неосторожность: возвращаться надо было под вечер через реку, сырость могла ребенку повредить. Пришедший, по обыкновению, с дедушкой с прогулки Саша нес в руке букет ночных фиалок. Не знаю, подсказал ли ему «дидя», – так он звал Андрея Николаевича, – или догадался сам, но букет он подал Любе, которую держала на руках няня. Это были первые цветы, полученные ею от своего будущего мужа. Тогда она по-своему выразила интерес к подарку, – быстро его растрепала и потянула цветы в ротик. Мальчик серьезно смотрел, не выражая ни протеста, ни смеха над крошечной дикаркой.

Любовь Дмитриевна Блок:

Трепетная нежность наших отношений никак не укладывалась в обыденные, человеческие: брат – сестра, отец – дочь... Нет!.. Больше, нежнее, невозможней... И у нас сразу же, с первого года нашей общей жизни, началась какая-то игра; мы для наших чувств нашли «маски», окружили себя выдуманнами, но совсем живыми для нас существами; наш язык стал совсем условный. Как, что – «конкретно» сказать совсем невозможно, это совершенно невоспринимаемо для третьего человека. Как отдаленное отражение этого мира в стихах – и все твари лесные, и все детское, и крабы и осел в «Соловьином саду». И потому, что бы ни случилось с нами, как бы ни терзала жизнь, – у нас всегда был выход в этот мир, где мы были незыблемо неразлучны, верны и чисты. В нем нам всегда было легко и надежно, если мы даже и плакали порой о земных наших бедах.

Мария Андреевна Бекетова. Из дневника:

13 августа <1904>. Шахматово. Но вот что новое и страшное – Сашура и Люба. Сашура – злой, грубый, непримиримый, тяжелый; его дурные черты вырастают, а хорошие глоснут. Он – удивительный поэт, но злоба, деспотизм, жестокость его ужасны. И при этом полное нежелание сдерживаться и стать лучше. Упорно говорит, что это не нужно и что гибель лучше всего. Это не есть дух противоречия относительно Софы, потому что было все еще до ее приезда. Но за год жизни с Любой произошла страшная перемена к худшему. Она не делает его ни счастливее, ни лучше. Наоборот. Что это? Она – недобрая, самолюбивая, она – необузданная. Алю она так и не полюбила и жестока с ней. Мне кажется часто, что это сгладится, что у нее ложный стыд мешает много, но я боюсь за будущее. Давно ли у него были добрые порывы? А теперь? Что же это будет?

Любовь Дмитриевна Блок:

Конечно, не муж и не жена. О, Господи! Какой он муж и какая уж это была жена! В этом отношении и был прав А. Белый, который разрывался от отчаяния, находя в наших отношениях с Сашей «ложь». Но он ошибался, думая, что и я и Саша упорствуем в своем «браке» из приличия, из трусости и невесть еще из чего. Конечно, он был прав, что только он любит и ценит меня, живую женщину, что только он окружит эту меня тем обожанием, которого женщина ждет и хочет. Но Саша был прав по-другому (о, насколько более суровому, но и высокому!), оставляя меня с собой. А я всегда широко пользовалась правом всякого человека выбирать не легчайший путь.

Я не пошла на услаждение своих «женских» (бабьих) претензий, на счастливую жизнь боготворимой любовницы. <...>

Отказавшись от этого первого серьезного «искушения», оставшись верной настоящей и трудной моей любви, я потом легко отдавала дань всем встречавшимся влюбленностям – это был уже не вопрос, курс был взят определенный, парус направлен, и «дрейф» в сторону не существует.

За это я иногда впоследствии и ненавидела А. Белого: он сбил меня с моей надежной самоуверенной позиции. Я по-детски непоколебимо верила в единственность моей любви и в свою незыблемую верность в то, что отношения наши с Сашей «потом» наладятся.

Моя жизнь с «мужем» (!) весной 1906 года была уже совсем расшатанной. <...> Короткая вспышка чувственного его увлечения мной в зиму и лето перед свадьбой скоро, в первые же два месяца, погасла, не успев вырвать меня из моего девического неведения, так как инстинктивная самозащита принималась Сашей всерьез.

Я до идиотизма ничего не понимала в любовных делах. Тем более не могла я разбраться в сложной и не вполне простой любовной психологии такого не обиденного мужа, как Саша.

Он сейчас же принялся теоретизировать о том, что нам и не надо физической близости, что это «астартизм», «темное» и бог знает еще что. Когда я ему говорила о том, что я люблю весь этот еще неведомый мне мир, что я хочу его – опять теории: такие отношения не могут быть длительны, все равно он неизбежно уйдет от меня к другим. А я? «И ты также». Это приводило меня в отчаяние! Отвергнута, не будучи еще женой, на корню убита основная вера всякой полюбившей впервые девушки в незыблемость, единственность. Я рыдала в эти вечера с таким бурным отчаянием, как уже не могла рыдать, когда все в самом деле произошло «как по писаному».

Молодость все же бросала иногда друг к другу живших рядом. В один из таких вечеров неожиданно для Саши и со «злым умыслом» моим произошло то, что должно было произойти, – это уже осенью 1904 года. С тех пор установились редкие, краткие, по-мужски эгоистические встречи. Неведение мое было прежнее, загадка не разгадана, и бороться я не умела, считая свою пассивность неизбежной. К весне 1906 года и это небольшое прекратилось.

Борис Александрович Садовской:

Нередко он приглашал меня к себе обедать. Живо помню эти летние петербургские дни, эти молчаливые обеды в обществе Блока и его жены, Любови Дмитриевны – дочери знаменитого химика Менделеева. Помню нервную напряженность за столом. Нельзя было не заметить, что в этой семье не все благополучно; подчас мне казалось, что Блок приглашает меня только для того, чтобы не оставаться наедине с женой. Любовь Дмитриевна раз даже сказала супругу обидную колкость. В ответ Александр Александрович с улыбкой заметил:

– Кажется, разговор начинает принимать неблагоприятный оборот.

Алкоголь

Николай Корнеевич Чуковский:

Александра Блока я увидел впервые осенью 1911 года. В 1911–1912 гг. мы жили в Петербурге, на Суворовском проспекте. Мне было тогда 7 лет. Я помню вечер, дождь, мы выходим с папой из «Пассажа» на Невский. <...>

Блока мы встретили сразу же, чуть сошли на тротуар. Остановись под фонарем, он минут пять разговаривал с папой. Из их разговора я не помню ни слова. Но лицо его я запомнил прекрасно – оно было совсем такое, как на известном сомовском портрете. Он был высок и очень прямо держался, в шляпе, в мокром от дождя макинтоше, блестящем при ярком свете электрических фонарей Невского.

Он пошел направо, в сторону Адмиралтейства, а мы с папой налево. Когда мы остались одни, папа сказал мне:

– Это поэт Блок. Он совершенно пьян.

Борис Александрович Садовской:

– Вот уже скоро два года, как Блок все пьет и ничего не пишет, – грустно заметил Ремизов, распуская зонтик.

Мы возвращались с похорон. Моросил неприятный, осенний дождь. Ремизов, больше всего на свете боявшийся смерти, уныло горбился и пугливо поблескивал очками.

– Я пробую вытрезвить его. Каждый вечер сажаю на извозчика, и мы вдвоем катаемся по Петербургу.

С трудом удержался я от улыбки. Что за наивность! Как раз накануне Блок мне сказал:

– По ночам я ежедневно обхожу все рестораны на Невском, от Николаевского вокзала до Морской, и в каждом выпиваю у буфета. А утром просыпаюсь где-нибудь в номерах.

Георгий Владимирович Иванов:

<...> Время от времени его тянет на кабацкий разгул. Именно – кабацкий. Холеный, барственный, чистоплотный Блок любит только самые грязные, проплеванные и прокуренные «злачные места»: «Слон» на Разъезжей, «Яр» на Большом проспекте. После «Слона» или «Яра» – к цыганам... Чад, несвежие скатерти, бутылки, закуски. «Машина» хрипло выводит – «Пожалей ты меня, дорогая» или «На сопках Маньчжурии». Кругом пьяницы.

Александр Александрович Блок:

И каждый вечер друг единственный
В моем стакане отражен
И влагой терпкой и таинственной,
Как я, смирен и оглушен.

А рядом у соседних столиков
Лакеи сонные торчат,
И пьяницы с глазами кроликов
«In vino veritas!» кричат.

И каждый вечер, в час назначенный,
(Иль это только снится мне?)
Девичий стан, шелками схваченный,

В туманном движется окне.

И медленно, пройдя меж пьяными,
Всегда без спутников, одна,
Дыша духами и туманами,
Она садится у окна.

И веют древними поверьями
Ее упругие шелка,
И шляпа с траурными перьями,
И в кольцах узкая рука.

И странной близостью закованный,
Смотрю за темную вуаль,
И вижу берег очарованный
И очарованную даль.

Глухие тайны мне поручены,
Мне чье-то солнце вручено,
И все души моей излучины
Пронзило терпкое вино.

И перья страуса склоненные
В моем качаются мозгу,
И очи синие бездонные
Цветут на дальнем берегу.

В моей душе лежит сокровище,
И ключ поручен только мне!
Ты право, пьяное чудовище!
Я знаю: истина в вине.

Женщины

Любовь Дмитриевна Блок:

Физическая близость с женщиной для Блока с гимназических лет это – платная любовь, и неизбежные результаты – болезнь. Слава Богу, что еще все эти случаи в молодости – болезнь не роковая. Тут несомненно травма в психологии. Не боготворимая любовница вводила его в жизнь, а случайная, безлика, купленная на несколько минут. И унижительные, мучительные страдания... Даже Афродита Урания и Афродита площадная, разделенные бездной... Даже К. М. С. (Ксения Михайловна Садовская. – *Сост.*) не сыграла той роли, какую должна была бы сыграть; и она более, чем «Урания», чем нужно было бы для такой первой встречи, для того, чтобы любовь юноши научилась быть любовью во всей полноте. Но у Блока так и осталось – разрыв на всю жизнь. Даже при значительнейшей его встрече уже в зрелом возрасте в 1914 году было так, и только ослепительная, солнечная жизнерадостность Кармен (Любовь Александровна Дельмас. – *Сост.*) победила все травмы, и только с ней узнал Блок желанный синтез и той и другой любви.

Семья

Предки

Блоки

Александр Александрович Блок. Из *«Автобиографии»*:

Дед мой – лютеранин, потомок врача царя Алексея Михайловича, выходца из Мекленбурга <...>. Женат был мой дед на дочери новгородского губернатора – Ариадне Александровне Черкасовой.

Софья Николаевна Тутолмина:

<...> Наша бабушка Ариадна Александровна Блок, которая жила с нами, не могла простить матери поэта ее уход от Александра Львовича, ее обожаемого старшего сына, и отношения были порваны.

Но та же бабушка передала мне как-то стихи, написанные Сашей, и велела ответить ему тоже стихами.

Бекетовы

Сергей Михайлович Соловьев (1885–1942), *поэт-символист, друг А. А. Блока и Андрея Белого:*

Гнездо, из которого вылетел лебедь новой русской поэзии, – Шахматово, – было основано дедом Блока по матери, ботаником А. Н. Бекетовым. Помню его стариком. Некрасивый, но удивительно изящный, в серой крылатке, «старик, как лунь седой», мягкий, благородный, во всем печать французской культуры:

Сладко вспомнить за обедом
Старый, пламенный Париж.

В молодости, как убежденный натуралист, ненавидел классицизм, возмущался развратностью древних поэтов, но потом с гордостью говорил: «Саша переводит Горация в стихах».

Александр Александрович Блок. Из *«Автобиографии»*:

Дед мой, Андрей Николаевич Бекетов, ботаник, был ректором Петербургского университета в его лучшие годы (я и родился в «ректорском доме»). Петербургские Высшие женские курсы, называемые «Бестужевскими» (по имени К. Н. Бестужева-Рюмина), обязаны существованием своим главным образом моему деду.

Он принадлежал к тем идеалистам чистой воды, которых наше время уже почти не знает. Собственно, нам уже непонятны своеобразные и часто анекдотические рассказы о таких дворянах-шестидесятниках, как Салтыков-Щедрин или мой дед, об их отношении к императору Александру II, о собраниях Литературного фонда, о борелевских обедах, о хорошем французском и русском языке, об учащейся молодежи конца семидесятых годов.

Вся эта эпоха русской истории отошла безвозвратно, пафос ее утрачен, и самый ритм показался бы нам чрезвычайно неторопливым.

В своем сельце Шахматове (Клинского уезда, Московской губернии) дед мой выходил к мужикам на крыльцо, потряхивая носовым платком; совершенно по той же причине, по которой И. С. Тургенев, разговаривая со своими крепостными, смущенно отколупывал кусочки краски с подъезда, обещая отдать все, что ни спросят, лишь бы отвязались.

Встречая знакомого мужика, дед мой брал его за плечо и начинал свою речь словами: «Eh bein, mon petit...»⁴ Иногда на том разговор и кончался. Любимыми собеседниками были памятные мне отъявленные мошенники и плуты: старый *Jacob Fidele*⁵, который разграбил у нас половину хозяйственной утвари, и разбойник Федор Куранов (по прозвищу *Куран*), у которого было, говорят, на душе убийство; лицо у него было всегда сине-багровое – от водки, а иногда – в крови; он погиб в «кулачном бою». Оба были действительно люди умные и очень симпатичные; я, как и дед мой, любил их, и они оба до самой смерти своей чувствовали ко мне симпатию.

Однажды дед мой, видя, что мужик несет из лесу на плече березку, сказал ему: «Ты устал, дай я тебе помогу». При этом ему и в голову не пришло то очевидное обстоятельство, что березка срублена в нашем лесу.

Мои собственные воспоминания о деде – очень хорошие; мы часами бродили с ним по лугам, болотам и дебрям; иногда делали десятки верст, заблудившись в лесу; выкапывали с корнями травы и злаки для ботанической коллекции; при этом он называл растения и, определяя их, учил меня начаткам ботаники, так что я помню и теперь много ботанических названий. Помню, как мы радовались, когда нашли особенный цветок ранней грушевки, вида, неизвестного московской флоре, и мельчайший низкорослый папоротник; этот папоротник я до сих пор каждый год ищу на той самой горе, но так и не нахожу, – очевидно, он засеялся случайно и потом выродился.

Все это относится к глухим временам, которые наступили после событий 1 марта 1881 года. Дед мой продолжал читать курс ботаники в Петербургском университете до самой болезни своей; летом 1897 года его разбил паралич, он прожил еще пять лет без языка, его возили в кресле. Он скончался 1 июля 1902 года в Шахматове. Хоронить его привезли в Петербург; среди встречавших тело на станции был Дмитрий Иванович Менделеев.

Дмитрий Иванович играл очень большую роль в бекетовской семье. И дед и бабушка моя были с ним дружны. Менделеев и дед мой, вскоре после освобождения крестьян, ездили вместе в Московскую губернию и купили в Клинском уезде два имения – по соседству: менделеевское Боблово лежит в семи верстах от Шахматова, я был там в детстве, а в юности стал бывать там часто.

Мария Андреевна Бекетова:

Отец мой Андрей Николаевич был самый живой, разносторонний и яркий из братьев Бекетовых. В ранней молодости он увлекался фурьеризмом, одно время серьезно занимался философией, изучая Платона, был далеко не чужд литературе, уже в старости зачитывался Толстым и Тургеневым, второй частью Гетева Фауста. В общественной деятельности он проявил большую энергию и страстность. Время его ректорства оставило очень яркий след в истории Петербургского университета. Особенно многим обязаны ему студенты, в организацию которых он внес совершенно новые элементы. Ни один ректор ни до, ни после него не был так близок с молодежью. Между прочим, он то и дело тревожил полицейские власти, хлопоча об освобождении студентов, сидевших в доме предварительного заклю-

⁴ «Ну, малыш...» (фр.)

⁵ Яков Верный (фр.).

чения. Его энергия и настойчивость в этом направлении были столь неутомимы, что он добился однажды необычайного результата: по его ходатайству один студент четвертого курса, сидевший в крепости, получил разрешение держать выпускные экзамены, являясь в университет под конвоем, и таким образом кончил курс и получил кандидатский диплом.

Что касается деятельности моего отца по части высшего женского образования, то можно смело сказать, что он был его создателем с самого начала возникновения этого течения. Очень немногие знают, что Бестужевские курсы названы не Бекетовскими только потому, что во время их открытия отец был на плохом счету в высших сферах, где у него создалась репутация Робеспьера.

Александр Александрович Блок. Из «Автобиографии»:

Жена деда, моя бабушка, Елизавета Григорьевна, – дочь известного путешественника и исследователя Средней Азии, Григория Силыча Корелина (Карелина. – Сост.). Она всю жизнь работала над компиляциями и переводами научных и художественных произведений; список ее трудов громаден; последние годы она делала до 200 печатных листов в год; она была очень начитана и владела несколькими языками; ее мировоззрение было удивительно живое и своеобразное, стиль – образный, язык – точный и смелый, обличавший казачью породу. Некоторые из ее многочисленных переводов остаются и до сих пор лучшими.

Переводные стихи ее печатались в «Современнике», под псевдонимом «Е. Б.», и в «Английских поэтах» Гербея, без имени. Ею переведены *многие* сочинения Бокля, Брэма, Дарвина, Гексли, Мура (поэма «Лалла-Рук»), Бичер-Стоу, Гольдсмита, Стэнли, Теккерей, Диккенса, В.-Скотта, Брэт-Гарта, Жорж-Занд, Бальзака, В. Гюго, Флобера, Мопассана, Руссо, Лесажа. Этот список авторов – далеко не полный. Оплата труда была всегда ничтожна. Теперь эти *сотни тысяч* томов разошлись в дешевых изданиях, а знакомый с антикварными ценами знает, как дороги уже теперь хотя бы так называемые «144 тома» (изд. Г. Пантелеева), в которых помещены многие переводы Е. Г. Бекетовой и ее дочерей. Характерная страница в истории русского просвещения.

Отвлеченное и «утонченное» удавалось бабушке моей меньше, ее язык был слишком лапидарен, в нем было много бытового. Характер на редкость отчетливый соединился в ней с мыслью ясной, как летние деревенские утра, в которые она до свету садилась работать. Долгие годы я помню смутно, как помнится все детское, ее голос, пальцы, на которых с необыкновенной быстротой вырастают яркие шерстяные цветы, пестрые лоскутные одеяла, сшитые из никому не нужных и тщательно собираемых лоскутков, – и во всем этом – какое-то невозвратное здоровье и веселье, ушедшее с нею из нашей семьи. Она умела радоваться просто солнцу, просто хорошей погоде, даже в самые последние годы, когда ее мучили болезни и доктора, известные и неизвестные, проделывавшие над ней мучительные и бессмысленные эксперименты. Все это не убивало ее неукротимой жизненности.

Эта жизненность и живучесть проникала и в литературные вкусы; при всей тонкости художественного понимания она говорила, что «тайный советник Гете написал вторую часть „Фауста“, чтобы удивить глубокомысленных немцев». Также ненавидела она нравственные проповеди Толстого. Все это вязалось с пламенной романтикой, переходящей иногда в старинную сентиментальность. Она любила музыку и поэзию, писала мне полушутливые стихи, в которых звучали, однако, временами грустные ноты:

Так, бодрствуя в часы ночные
И внука юного любя,
Старуха-бабка не впервые
Слагала стансы для тебя.

Она мастерски читала вслух сцены Слепцова и Островского, пестрые рассказы Чехова. Одною из последних ее работ был перевод двух рассказов Чехова на французский язык (для «Revue des deux Mondes»). Чехов прислал ей милую благодарственную записку.

К сожалению, бабушка моя так и не написала своих воспоминаний. У меня хранится только короткий план ее записок; она знала лично многих наших писателей, встречалась с Гоголем, братьями Достоевскими, Ап. Григорьевым, Толстым, Полонским, Майковым. Я берегу тот экземпляр английского романа, который собственноручно дал ей для перевода Ф. М. Достоевский. Перевод этот печатался во «Времени».

Бабушка моя скончалась ровно через три месяца после деда – 1 октября 1902 года.

Сергей Михайлович Соловьев:

«...» Елизавета Григорьевна, урожденная Карелина, приходилась мне двоюродной бабушкой. Это был сплошной блеск остроумия. Больная, прикованная к креслу, она не теряла прежней доброты и остроумия. Неустанно работала: переводила с английского Теккерея, Брет Гарта и др. Относилась с отвращением ко всякой метафизике и мистицизму. Терпеть не могла немцев, особенно Гете, и говорила, что он написал вторую часть «Фауста» для того, чтобы никто ничего не понял. Единственным приличным немцем считала Шиллера. В отношении церкви была настоящий Вольтер и называла церковную утварь «бутафорскими принадлежностями».

Анна Ивановна Менделеева:

Хозяйством занималась бабушка Елизавета Григорьевна, в важных случаях вопросы решались семейным советом, а в крайне важных поручали Андрею Николаевичу выполнить роль главы – пойти «покричать». Андрей Николаевич, в своем кабинете, погруженный в книги, относившийся с полным равнодушием к материальным вопросам вообще и к хозяйственным в частности, не считал себя в праве отказываться от предоставленной ему роли главы, по призыву вставал с своего кресла, закладывая руки в карманы, нахмуривая брови, выходил на крыльцо, место самых важных объяснений, рассеянно оглядываясь, в какую сторону надо «покричать», выполнял более или менее неудачно свою роль и тотчас принимал свое обычное добродушное выражение, самодовольно улыбаясь, явно переоценивая свою заслугу, шагал обратно к своим книгам и гербариям. Насколько был чужд этот добрый человек помещичьих интересов, видно из рассказа местного крестьянина. Гуляя как-то в своем лесу, Андрей Николаевич увидел старого крестьянина, совершившего порубку и уносившего огромное дерево из бекетовского леса к себе домой. Увидев это, Андрей Николаевич очень смутился и, по обыкновению, хотел сделать вид, что ничего не заметил; но, видя, что деду тащить было очень трудно, не выдержал, робко и конфузливо предложил: «Трофим, дай я тебе помогу», на что тот, надо сказать правду, так же конфузливо согласился, и вот знакомому обоим Фоме (от которого услышали этот рассказ) представилась забавная и трогательная картина, как барин, надсаживаясь и кряхтя, тащил из собственного леса дерево для укрывшего его крестьянина.

Мария Андреевна Бекетова:

В нашей семье, где давала тон Сашина бабушка, литературность была, так сказать, в крови. Ею пропитана была вся атмосфера бекетовского дома. Это проявлялось не только в занятиях литературным трудом, но и в повседневной жизни, в частых цитатах стихов и прозы, в манере выражаться и в интересе к новым книгам. Это «новое» было, однако, только до известной степени. Уже Достоевский был не по вкусу нашим родителям, а из поэтов мать наша остановилась на Полонском и Фете. Сестра Александра Андреевна

частенько воевала дома из-за излишнего пристрастия к Тургеневу, непонимания Флобера и т. д.

Отец Александр Львович Блок

Софья Николаевна Тутолмина:

Ясно помню его удивительно красивое лицо, немного напоминающее лицо Гейне, всегда грустные, куда-то устремленные глаза и тихий, красивый, но однотонный голос. Часто он садился за рояль и играл по памяти Шопена (любимый его композитор), а затем декламировал Мицкевича. По вечерам у него бывали длинные и грустные разговоры с бабушкой, после которых бабушка всегда плакала.

Екатерина Сергеевна Герцог:

«...» Характер у него был нелегкий, с большими странностями, которые нередко бывают у людей, отдающих большую часть времени науке и труду, или у одиноких людей, не привыкших к заботам других о себе. Но кто знал его близко, прощал ему эти странности.

Евгений Александрович Бобров (1867–1933), философ, публицист, сослуживец А. Л. Блока по Варшавскому университету:

Я хорошо знал покойного Александра Львовича Блока. Познакомился я с ним после моего переезда в Варшаву. «...» Среди многолюдного и шумного города он жил своеобразным отшельником. «...» Я, ввиду трудности проникать к Блоку, часто приглашал его к себе. Мы проводили с ним целые вечера в беседах на самые разнообразные темы. Он познакомил меня как со своей биографией, так и со своими взглядами. Особенно горько он рассказывал о тех притеснениях, какие ему суждено было испытать в Варшавском университете и от начальства, и от студентов, и от товарищей-профессоров. «...»

Недоразумения со студентами проистекали из двух источников. С одной стороны, он не сходился с поляками на национальной почве; будучи славянофилом и государственным, он отнюдь не сочувствовал польским революционным стремлениям. С другой стороны, он доводил студентов до исступления своею невозможной манерой экзаменовывать, спрашивая каждого не менее получаса, а иногда даже от часа до полутора. Происходили дикие сцены. Студенты в истерике начинали кричать, бросали литографированный курс к ногам экзаменатора. Сам Блок показывал мне ругательные письма с наклеенной раздавленной молью. Текст гласил, что, подобно этой моли, будет раздавлена моль в образе профессора Блока. Эти выходки принимались им с несокрушимым видимым спокойствием и неуторопленной речью (Блок немного заикался). Начальство, отчасти ввиду постоянных скандалов со студентами, отчасти же в силу его самостоятельности, не давало ему ходу, чуть ли не 20 лет выдерживало без повышения, в звании экстраординарного профессора, в то время, как разные ничтожества, не стоившие и пальца Блока, награждались деньгами, чинами, орденами, играли первые роли. Гордость, нелюдность Блока, его постоянная погруженность в какие-то думы мешали ему сходить с большинством товарищей-профессоров.

По наружности он был высокий, очень худощавый, сутуловатый, несомненно еврейского, благородного типа мыслителя и пророка (о чем он мыслил, будет речь дальше), но к особо скорой дружбе ни внешность Блока, ни его манера говорить и относиться к собеседнику – не располагали; невольно чувствовалась огромная самостоятельность мысли и большая гордость.

Мне посчастливилось довольно скоро сблизиться с ним, что, вероятно, отчасти объяснялось философией, которой Блок любил заниматься. Блок чувствовал везде и всегда себя одиноким, но этого одиночества не боялся. Близких отношений с молодежью он не искал, однако у него было некоторое количество верных и чрезвычайно преданных ему учеников «...». Однако ни один из них, питая глубочайшую благодарность к своему учителю за его

научное воспитание, не перенял для себя его специфической философии; каждый из них пошел своей особой дорогой. Курс лекций Блока был единственным в России, ибо нигде в русских университетах, кроме Варшавского, не читалось государственное право европейских держав, а преподавалось одно только русское государственное право. Блок же выработал, можно сказать, философию государственного права. Эта философия чрезвычайно трудно давалась студентам; некоторые места вообще среди этих лекций оставались для них непостижимыми, и такие места они называли сфинксами, Блоковскими сфинксами. Правда, нужно сказать, что Блок отдавал в литографию текст окончательно составленный и редактированный им самим, причем каждый год этот текст перерабатывался заново. Вдобавок лекции одновременно выходили в двух изданиях, одно для поляков, другое для русских студентов.

Екатерина Сергеевна Герцог:

В частной жизни А. Л. был глубоко интересным человеком. Для нас – молодежи – он был книгой неисчерпаемого интереса. Мы постоянно закидывали его всякими отвлеченными вопросами и всегда получали подробное объяснение, историческую справку или филологическое пояснение на всех европейских языках, которые он знал в совершенстве. Я уже не говорю об его знании истории, литературы и музыки.

Когда, случалось, удивлялись его многостороннему образованию, он всегда отшучивался или говорил:

– Если человек способен оценить многостороннее образование другого, то каким же образованным должен быть он сам! У моего отца и у А. Л. была изумительная память. Они часами читали поэтов наизусть, начиная с Державина.

Особенно же часто повторяли «Евгения Онегина» – целиком, наизусть – с любой строфы.

В то время А. Л. жил одиноко (на Кошиковой ул.), весь уходя в книги и работу. С его слов мы знали, что он был женат два раза и имел от первой жены сына, а от второй – дочь. Портрет дочери стоял всегда перед ним среди хаоса книг, газет и вещей, и был большим трогательным контрастом веночек из цветов на портрете.

Евгений Александрович Бобров:

Внешняя скромность Блока, происходившая от чрезвычайной гордости, в конце концов привела к тому, что много новых профессоров, не знавших, что такое Блок, ввиду его молчаливости на собраниях и советах начинали считать его жалким ничтожеством, которому и нечего сказать. Тому же способствовала и крайне жалкая одежда, в которую облекался мыслитель. Вечный черный сюртук и черные брюки насчитывали, конечно, не один десяток лет существования. Все на нем было вытерто, засалено, перештопано. Проистекало это не из материальной нужды, а из чисто плюшкинской жадности и скупости. После смерти его в его квартире найдено было денег в различных видах (медью, серебром, золотом, бумажками, билетами, облигациями) свыше 80 000 руб. Он никогда не позволял убирать своей квартиры, никогда в течение десятков лет ее не отапливал, не выставлял рам, питался в высшей степени экономно и, по заключению врачей, этим недостаточным питанием сам вогнал себя в неизлечимую чахотку и уготовил себе преждевременную смерть на почве истощения. Он даже экономил на освещении квартиры. По вечерам он выходил на общую площадку лестницы, где горел даровой хозяйский газовый рожок, и читал, стоя, при этом свете или шел куда-нибудь в дешевую извозчичью харчевню, брал за пятак стакан чаю и сидел за ним весь вечер в даровом тепле и при даровом свете. Знавшие эти странности и слабости Блока и любившие его за его выдающиеся способности охотно приглашали его к себе в гости, немного подкармливали, угощая обедом, чаем, ужином. У Блока было

все-таки несколько знакомых семейств, которые он посещал, куда он ходил охотно, будучи убежден в добром к нему расположении. Было у него несколько друзей женщин (особенно помнится мне жена суд-инспектора Крылова), которые, приглашая его к себе, угощая его, брали на себя заботу тут же, во время чая, собственноручно шить и штопать знаменитый сюртук, совлекая его с плеч мыслителя.

Екатерина Сергеевна Герцог:

Когда А. Л. случалось хворать, мой отец навещал его и всегда поражался той обстановке, в которой он жил. Прислуги у него не было; никто не топил печей, никто не убирал комнаты. На вещах, на книгах, иногда прикрытых газетами, лежали толстые слои пыли.

Ему бывало холодно зимой писать; руки его замерзали. Чтобы впустить немного тепла, он открывал дверь на лестницу или уходил куда-нибудь отогреться. Зачастую мой отец заставлял его совсем застывшим и увозил к нам греться. Очень часто его обкрадывали в квартире. И случилось так, что зимой у него украли шубу. Он ходил тогда в каком-то коротком ватном пальто с рыжим потертым меховым воротником. Пальто это было похоже на дамский жакет, но А. Л. этим нимало не смущался. Вообще он не много внимания уделял своему туалету. Приходил он к нам или в старом сюртуке, или в сером пиджаке, тоже «ветхом вельми», так же, как и обувь его.

Белье на нем всегда было не свежее, так, что воротнички были уже совсем серые, обтрепанные по краям. Запонки на рубашке всегда отсутствовали, и надето бывало на нем по две и даже по три рубашки. Вероятно, он надевал более чистую на более грязную или зимой ему было холодно. Ко всему этому мы относились не с порицанием или с насмешкой, а с сожалением, так как видели в нем человека с надорванной душой, всецело отдавшего себя науке и труду, обрекшего себя на жизнь аскета со всевозможными лишениями, ради какой-то цели, думали мы. <...>

Характерно, что наряду с такой бережливостью А. Л. не были чужды порывы, свойственные широкой натуре. Мне известен случай, когда он сам предложил займы без всякой расписки сто рублей знакомому в минуту его острой нужды в деньгах.

Так жил А. Л. в ту пору, когда мы с ним встречались.

Как сейчас помню его красивое, худое лицо со слегка западающими щеками, с темной, чуть седеющей бородой. Его высокий лоб с откинутыми назад волосами, сосредоточенный взгляд, часто усталый – говорили сразу о том, что это – человек науки. И как это часто бывает у таких отвлеченных людей, далеких от жизни, у него была какая-то детская, искренняя улыбка.

Наука, работа – были его жизнью, глубокие мысли рождались в его мозгу, а наряду с этим его интересовало все в жизни и иногда он упорно останавливал свое внимание на чем-нибудь очень незначительном, простом и житейском. Не оставались без внимания и люди, и прически дам.

Александр Львович любил играть с моей сестрой, прекрасной пианисткой, в четыре руки.

Любил он только Бетховена и Вагнера, и когда играл, увлекался и забывал о времени. Увлекаясь, подпевал, очевидно, уходя от всего окружающего.

У каждого из нас были свои любимые бетховенские сонаты и симфонии, А. Л. особенно любил сонату «Appassionata», а из симфоний – Пятую.

Он очень хорошо знал историю музыки и интересно рассказывал нам о каждом произведении Бетховена.

Иногда рассвет заглядывал в окна нашей гостиной, а они все играли, и часто слушательницей была только я одна. Потом он вдруг сразу обрывал игру и очень поспешно, всегда очень извиняясь, смущенный, уходил.

Его ноты были всегда у нас. Иногда он просил меня петь (я училась пению) итальянские романсы, которые он любил, и сам аккомпанировал мне. <...>

Часто у нас собиралась молодежь. Мы всегда приглашали и А. Л. – он нас ничуть не стеснял и даже нередко сам вызывался играть нам штраусовские вальсы. Он живо интересовался нашими шумными «petits jeux» и особенно любил, когда мы устраивали сложные шарады (charades en action). Иногда он сам давал нам темы. Он со вниманием следил за ходом шарады; думал, отгадывал слоги разделенного слова и искренно смеялся финальному заключению шарады. Он отдыхал с нами и отвлекался от своей сложной и трудной работы.

Евгений Александрович Бобров:

Всего курьезней, что несмотря на свою славянофильскую манеру мышления, несмотря на глубокое уважение к исторически сложившейся России, в ее своеобразной государственной форме, – Блок в глазах начальства считался опасным человеком. <...>

Можно вообще сказать, что Блока, кроме его прямых учеников по специальности, тех, которых он готовил к профессуре, никто не ценил, никто не понимал. Только в конце его жизни, уже на моих глазах (я прослужил с ним 6 лет) началось постепенное улучшение его участи. Сначала он получил ординатуру, потом его выбрали в члены библиотечной комиссии, мы в комиссии выбрали его в председатели. Кажется, это было первым его административным повышением, совершившимся благодаря моему настоянию. Потом он стал секретарем факультета, наконец, его выбрали даже в деканы юридического факультета и он стал членом правления университета. В этом звании он и умер.

Умер Блок от чахотки (туберкулеза легких) и сильного истощения. За месяц до смерти, он, наконец, сам понял невозможность оставаться дальше одному на своей одинокой квартире, без отопления, без освещения и еды. Он был уже так слаб, что с трудом мог двигаться; ослабело сердце, опухли ноги, и он добровольно поступил в частную больницу на «Аллее роз», под названием «Дом здоровья». Для него этот дом оказался домом смерти. <...>

Я не участвовал в его похоронах, – мне это было чересчур тяжело. Приехали наследники: сын первой жены (урожденной Бекетовой), поэт Ал. Ал. Блок; мать его, сама лично, не приехала, приехала вторая жена – Мария Тимофеевна (урожденная Беляева) со своей дочерью Анжелиной Александровной. И они, и всякого рода посторонние лица, прежде всего полиция, ворвались в неприступную цитадель его квартиры, распотрошили ее и в тюфяке на постели обрели целую калифорнию. Даже по полицейскому счету, как известно, весьма приблизительному, оказалось свыше 80 000 руб. накопленных ценой невероятных лишений за два с половиной десятка лет. Деньги поделили между собой обе семьи пополам, тело предали погребению, разъехались, разошлись, и на память о Блоке ничего не осталось, кроме нескольких брошюр и газет, совершенно не передающих целиком систему его мышления, которую пытался восстановить, неизвестно с каким успехом и с какой степенью достоверности, его ученик – Спекторский.

Екатерина Сергеевна Герцог:

А. А. задержался после похорон на некоторое время в Варшаве и бывал у нас часто.

Мне сейчас очень трудно вспомнить каждое из этих посещений, и все то, что говорил он, но одно я твердо помню и знаю, что об отце своем он не сказал ни одного недоброго слова и ни одного осуждения или упрека ему, и, хотя, видимо, он не очень был огорчен этой смертью, все же он переживал ее по-своему.

Александр Александрович Блок. Из «Автобиографии»:

Отец мой, Александр Львович Блок, был профессором Варшавского университета по кафедре государственного права; он скончался 1 декабря 1909 года. Специальная ученость далеко не исчерпывает его деятельности, равно как и его стремлений, может быть менее научных, чем художественных. Судьба его исполнена сложных противоречий, довольно необычна и мрачна. За всю жизнь свою он напечатал лишь две небольшие книги (не считая литографированных лекций) и последние двадцать лет трудился над сочинением, посвященным классификации наук. Выдающийся музыкант, знаток изящной литературы и тонкий стилист, – отец мой считал себя учеником Флобера. Последнее и было главной причиной того, что он написал так мало и не завершил главного труда жизни: свои непрестанно развивавшиеся идеи он не сумел вместить в те сжатые формы, которых искал; в этом искании сжатых форм было что-то судорожное и страшное, как во всем душевном и физическом облике его.

Мария Андреевна Бекетова:

Ему, впавшему под влиянием второй жены, которая была с одной стороны английского происхождения, чуть не в ханжество, была противна религиозность Александры Андреевны. Он плевал на ее крест, бросал на пол ее Евангелие и, разумеется, злился, когда она молилась. Но какую нужно иметь утонченную жестокость, чтобы бить по лицу, как он это часто делал, нежную, любящую жену, очень молодую, почти ребенка. Между прочим, он бил ее обручальным кольцом. Это кольцо вообще мне памятно. Когда он приходил к жене через несколько лет после разрыва, уже успокоенный, так что не боялись его пускать, он давал о себе знать, стуча в запертую дверь этим кольцом, этот особый звук был для него характерен. Когда я узнала, как обращается Александр Львович с женой, его вид стал внушать мне ужас. Да, в этом человеке было что-то страшное, поистине дьявольское. <...>

Он был слишком отвлеченный человек и совсем не знал, как нужно обращаться с детьми, он не умел ни приласкать Сашу, ни позабавить, ни говорить с ним на его детском языке, применяясь к его понятиям, ни подарить ему какую-нибудь игрушку или лакомство. Ребенок, очевидно, чувствовал в нем что-то страшное и глубоко чужое. Дети вообще очень чутки, а маленький Блок был особенно чуток. В этом чужом человеке, который иногда откуда-то являлся и как будто чего-то ждал от него, не было ничего милого и ничего того, к чему ребенок привык от всех, кто его окружал.

Александр Александрович Блок. Из «Автобиографии»:

Я встречался с ним мало, но помню его кровно.

Мать Александра Андреевна Кублицкая-Пиоттух

Александр Александрович Блок. Из «Автобиографии»:

Моя мать, Александра Андреевна (по второму мужу – Кублицкая-Пиоттух), переводила и переводит с французского – стихами и прозой (Бальзак, В. Гюго, Флобер, Зола, Мюссе, Эркман-Шатриан, Додэ, Бодлэр, Верлэн, Ришпэн). В молодости писала стихи, но печатала – только детские.

Михаил Васильевич Бабенчиков:

Мать Блока не отличалась красотой. Маленькая, худенькая, с болезненно грустной улыбкой на блеклом лице, она привлекала лишь мягким выражением умных глаз и той нежностью, с которой смотрела на сына.

Андрей Белый:

«...» Мать Блока – такая какая-то... Какая же? Да такая какая-то – нервная, тонкая, очень скромно одетая (в серенькой кофточке), точно птичка, – живая, подвижная, моложавая: зоркая до... прозорливости, до способности подглядеть человека с двух слов, сохраняющая вид «институтки»; впоследствии понял я: вид «институтки» есть выражение живости Александры Андреевны, ее приближавшей, как равную, к темам общения нашего с Блоком: тот род отношений, которые складывались меж «матерями» и молодым поколением, не мог с ней возникнуть; «отцов и детей» с нею не было, потому что она волновалась с нами, противясь «отцам», не понимая «отцов», – понимая «детей»; скоро мы подружились (позволяю себе так назвать отношения наши: воистину с уважением к А. А. Кублицкой-Пиоттух сочеталась во мне глубочайшая дружба).

Мария Андреевна Бекетова:

Трудно было Александре Андреевне лавировать между противоположными интересами сына и мужа. Оба обращались к ней со своим, и ей приходилось вращаться одновременно в двух разных атмосферах. Эта жизнь на два фронта, как выражалась Александра Андреевна, была очень тяжела; чем дальше, тем труднее становилось ей согласовать свое существование с направлением мужа и сына. Душа ее рвалась к интересам сына. Она была его первым цензором еще в эпоху издания «Вестника». Он доверял ее вкусу, а мать поощряла его к писанию и делала ему дельные замечания, на которые он всегда обращал внимание. Она сразу почуяла в нем поэта и была настолько близка к новым веяниям в литературе, что могла понимать его стихи, как очень немногие. Если бы не ее поощрение и живой интерес к его творчеству, он был бы очень одинок, так как в то время его поэзия казалась большинству очень странной и непонятной. Его обвиняли, как водится, и в ломанье, и в желании быть во что бы то ни стало оригинальным и т. д. А он никогда не был самоуверен. Как же важно было для него поощрение матери, мнением которой он дорожил, относясь к ней с уважением и доверием! Она же стала показывать его стихи таким ценителям, как семья М. С. Соловьева (брата философа), а через них узнали эти стихи московские мистики с Андреем Белым во главе, и таким образом она была косвенной причиной всех его дальнейших успехов. Впоследствии сын советовался с матерью и при составлении своих сборников. Иногда ей удавалось уговорить его не поддаваться минутному настроению и не выбрасывать те или другие ценные стихи или сохранить какие-нибудь особенно любимые ею строфы, которые он собирался выкинуть или изменить; в других случаях она же браковала его стихи, находя их слабыми или указывая на недостатки отдельных строк и выражений.

Что же сказать еще об их отношениях? Для нее он рано сделался мудрым наставником, который учил ее жизни и произносил иногда беспощадные, но верные приговоры. Она же была его лучшим и первым другом до той поры, когда он женился на сильной и крупной женщине, значение которой в его жизни было громадно. Мать никогда не мешала сыну в его начинаниях. Он поступил на юридический факультет вопреки ее желанию. Она только поддерживала его, когда он задумал перейти на филологический факультет, и уговорила кончить университетский курс (в чем тогда он не видел смысла) каким-то простым аргументом. Она никогда не требовала от него блестящих отметок первого ученика и вообще не донимала его излишним материнским самолюбием, а в таком важном деле, как женитьба, была всецело на его стороне.

Надежда Александровна Нолле-Коган (1888–1966), жена литературоведа профессора П. С. Когана, переводчица:

Лицо очень болезненное, нервное, в глазах усталость и печаль, но вместе с тем оно очень одухотворенное, нежное, женственное. Жестоким резцом своим провела жизнь на этом лице скорбные борозды, но высоких душевных, «романтических» движений не угасила, они отражались в глазах, в улыбке.

Евгения Федоровна Книпович:

В этой старой женщине – больной, маленькой, хрупкой – жила какая-то «внеличная» сила. В ней не было ничего «дамского», как в Анне Ивановне Поповой (вдове Д. И. Менделеева, матери Любови Дмитриевны), ни профессорски-светского, как в Александре Дмитриевне Бугаевой – матери Андрея Белого; обе они бывали у меня уже в Москве. В ней ощущалось что-то старинное, дворянское – от 40-х годов, а может быть, и от 30-х, – высокая, наследственная культура, романтизм, изящная насмешливость тех женщин, с которыми дружили Пушкин, Гоголь, Тютчев, Баратынский. <...>

Ее коробили даже мои нарочитые «вульгаризмы». Достаточно было сказать, что кто-то «нахлестался» или «просвистался», чтобы она пожаловалась Любови Дмитриевне: «Зачем Женя так говорит! Mais elle n'en a pas le physique!» («Ей это не подходит!»). И если в веселую минуту Блок вспоминал какой-нибудь достаточно невинный эпизод из «жизни богемы», тут же следовала реплика: «Саша, ведь Женя – барышня».

Конечно, в этой щепетильности был и элемент иронической пародии на такую щепетильность, но все-таки реплики не были случайными.

Валентина Петровна Веригина:

Однажды Александра Андреевна была в Мариинском театре. В ту пору перед началом оперных спектаклей исполнялись гимны всех союзных наций. Как раз на другой день я зашла к Кублицким, и Александра Андреевна заговорила об этом. Она сказала, что больше всего по музыке ей нравится русский гимн, а «Марсельеза» возмущает своей внешней эффектностью. Мать Блока не любила французов, находя их поверхностными и легкомысленными, называла часто «французишки». Русскому гению близок гений немецкий, говорила она, «это неестественно, что мы воюем с немцами».

Мария Андреевна Бекетова:

Она сразу приняла в свое сердце его невесту, а потом полюбила его жену, как и всех, кого он любил. Она относилась к Люб(ови) Дм(итриевне) совершенно особенно: смотря на нее глазами сына, бесконечно восхищалась ее наружностью, голосом, словечками и была о ней высокого мнения. Несмотря на это, отношения их не имели сердечного характера.

Любовь Дмитриевна Блок:

Всегда Александра Андреевна врывается в мою жизнь и вызывает на эксцессы. Бестактность ее не имела границ и с первых же шагов общей жизни прямо поставила меня на дыбы от возмущения. Например: я рассказала первый год моего невеселого супружества. И вдруг в комнату ко мне влетает Александра Андреевна:

«Люба, ты беременна!» – «Нет, я не беременна!» – «Зачем ты скрываешь, я отдавала в стирку твоё бельё, ты беременна!» (Сапогами прямо в душу очень молодой, даже не женщины, а девушки.) Люба, конечно, начинает дерзить: «Ну, что же, это только значит, что женщины в мое время более чистоплотны и не так неряшливы, как в ваше. Но мне кажется, что мое грязное бельё вовсе не интересная тема для разговора». Поехало! Обидела, нагрубилась и т. д. и т. д.

Или во время нашего злосчастного житья вместе в трудный 1920 год. Я в кухне, готовлю, страшно торопясь, обед, прибежав пешком из Народного дома с репетиции и по дороге захватив паек эдак пуда в полтора-два, который принесла на спине с улицы Халтурина. Чищу селедки – занятие, от которого чуть не плачу, так я ненавижу и запах их, и тошнотворную скользкость. Входит Александра Андреевна. «Люба, я хочу у деточки убрать, где щетка?» – «В углу на месте». – «Да, вот она. Ох, какая грязная, пыльная тряпка, у тебя нет чище?» У Любы уже все кипит от этой «помощи». «Нет, Матреша принесет вечером». – «Ужас, ужас! Ты, Люба, слышишь, как от ведра пахнет?» – «Слышу». – «Надо было его вынести». – «Я не успела». – «Ну, да! Все твои репетиции, все театр, дома тебе некогда. Трах-та-ра-рах! Любино терпенье лопнуло, она грубо выпроваживает свою свекровушку, и в результате – жалобы Саше – «обидела, Люба меня ненавидит...» и т. д.

Самуил Миронович Алянский:

Это было в первых числах апреля 1921 года. Я пришел на Офицерскую, как всегда, вечером. Дверь открыла Александра Андреевна. После приветствий она сказала:

– Сашеньки нет дома, он предупредил, что запоздает, его вызвали на какое-то заседание. Любы тоже нет дома. Посидите у меня, пока Сашенька вернется.

Александра Андреевна заботливо усадила меня, про все расспросила, вспомнила, что последний ее рассказ был об увлечении Блока актерской игрой. Не спеша она продолжала прерванный рассказ о шекспировских спектаклях в Боблове (соседнее с Шахматовом имение Д. И. Менделеева) и о начавшейся дружбе Блока с Любовью Дмитриевной Менделеевой.

Когда речь зашла о том, как Блок волновался всякий раз, примеряя свой театральный костюм и накладывая грим, голос Александры Андреевны начал вдруг падать, и последние слова она произнесла так тихо, что ее едва было слышно. Я подумал, что ей сделалось дурно, и бросился принести воды, но Александра Андреевна остановила меня:

– Ничего, ничего, мне показалось...

Скоро голос ее опять окреп, и она продолжала рассказ. Но ей все время что-то мешало, она несколько раз останавливалась, к чему-то прислушивалась: видно, что-то ее тревожило.

– Знаете, с Сашенькой что-то случилось, – чуть слышно проговорила она, при этом голова ее поникла, глаза закрылись и пальцы она прижала к вискам.

Я подумал, что Александра Андреевна напрягается, чтобы увидеть или представить себе, что именно случилось с Сашенькой.

В таком положении она оставалась минуту или две, потом вдруг подняла голову, широко раскрыла глаза, повернулась лицом к двери и воскликнула:

– Сашенька, что случилось с тобой?

Машинально вслед за Александрой Андреевной я тоже повернул голову, но дверь по-прежнему была закрыта, и только спустя минуты две я услышал, как хлопнула входная дверь

с лестницы, резко раскрылась дверь в комнату, и неожиданно вбежал бледный и крайне взволнованный Александр Александрович.

Мария Андреевна Бекетова (тетка Блока) как-то рассказывала, что Александра Андреевна и ее сын обладают способностью предвидеть какие-то события и на расстоянии чувствуют тревогу и волнение друг друга. Тогда я скептически отнесся к такой способности, хотя и замечал иногда за Александрой Андреевной необычную тревожную впечатлительность.

Сейчас я убедился, что контакт между матерью и сыном на расстоянии действительно существовал.

Валентина Петровна Веригина:

Незадолго до смерти Александра Александровича, будучи не в состоянии выдержать дальше разлуку с больным сыном, мать его приехала в Петербург. Когда она пришла к Блоку, Любовь Дмитриевна не пустила ее в квартиру, стояла с ней на лестнице и упростила отложить свидание с сыном, уверяя, что волнение плохо отразится на его здоровье. Александра Андреевна подчинилась этому требованию и уехала, но ей не пришлось уже больше увидеться с Александром Александровичем, так как он вскоре умер. Я не заговаривала об этом случае с Любовью Дмитриевной, впоследствии она рассказала мне о нем сама. Между прочим, она говорила, что мать убийственно действовала на Блока во время болезни. После свидания с ней ему становилось значительно хуже. И раньше, всякий раз, когда настроение Александры Андреевны бывало подавленным, когда она нервничала, это отражалось на настроении сына, и обратно. Они неизменно заражали друг друга своей нервозностью. Люба говорила еще, что во время болезни, несмотря на сильную привязанность к матери, Блок не выражал желания видеть ее близ себя. Он хотел присутствия одной Любы, по ее словам, для нее самой было очень тяжело то, что она была вынуждена отговорить Александру Андреевну увидеться с сыном, но я надеялась, говорила Любовь Дмитриевна, что он поправится, а тут мне казалось, что свидание это его окончательно убьет. Сама Александра Андреевна простила ей, это доказывает вышеприведенная запись: «Люба меня любит...», и т. д. Действительно, после смерти Блока Любовь Дмитриевна очень заботилась о его матери, окружала ее вниманием и лаской.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.